A dark, atmospheric illustration of a gothic cathedral at night, partially obscured by mist and bare trees. A person in a dark coat stands in the foreground, looking towards the building. The scene is lit with a mix of cool blue tones and warm orange-red highlights from windows and ground-level lights.

Коллекция личных кошмаров. Том I

Егор Конюшенко

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Егор Конюшенко

**Коллекция личных
кошмаров. Том I**

«Автор»

2026

Конюшенко Е.

Коллекция личных кошмаров. Том I / Е. Конюшенко — «Автор»,
2026

Тринадцать историй, тринадцать исповедей тех, кто однажды заглянул за край привычного мира и не смог забыть увиденного. «Коллекция личных кошмаров» — это приглашение в чужую тьму, бережно собранную под одной обложкой. Откройте. И ваша собственная ночь станет чуть длиннее.

© Конюшенко Е., 2026

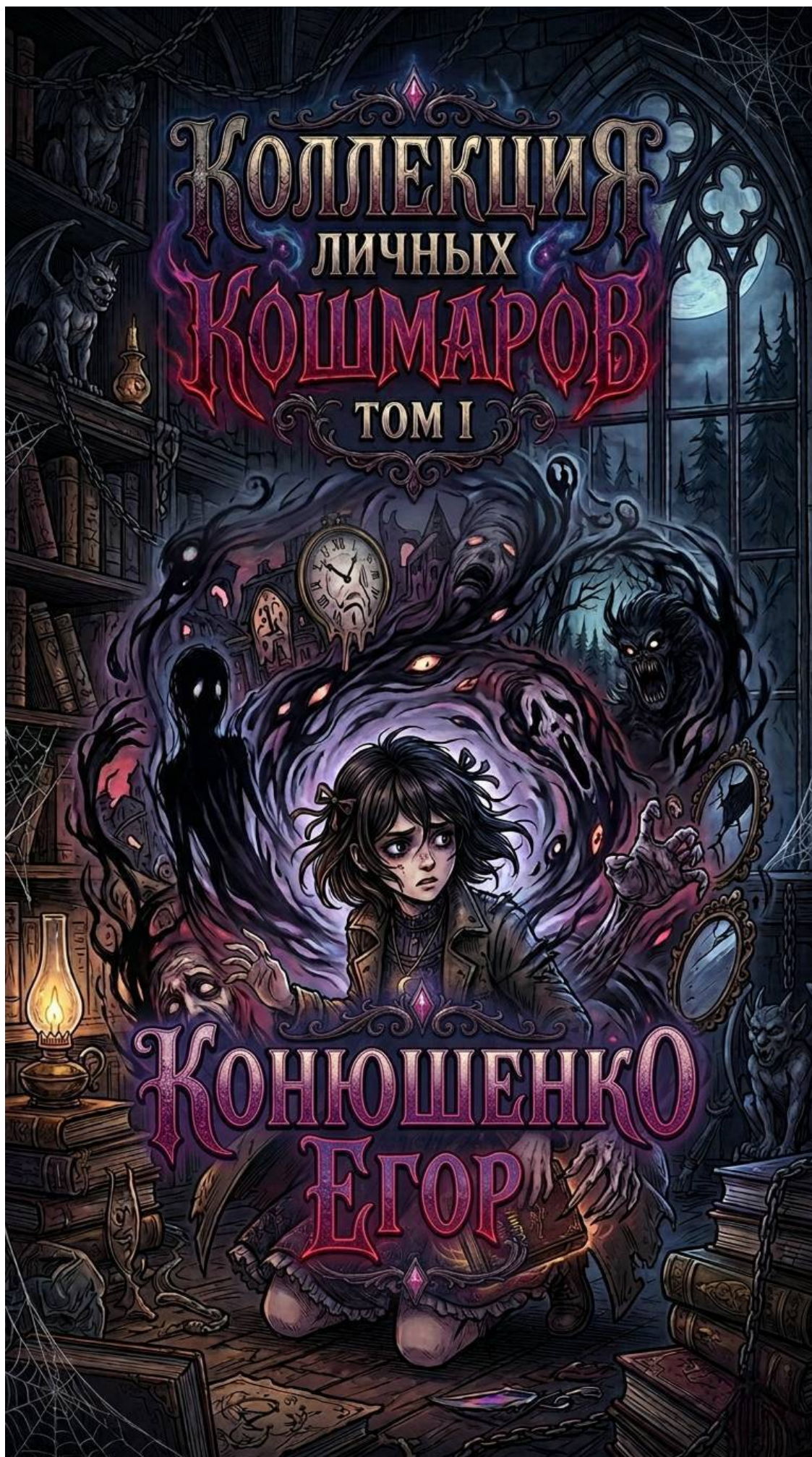
© Автор, 2026

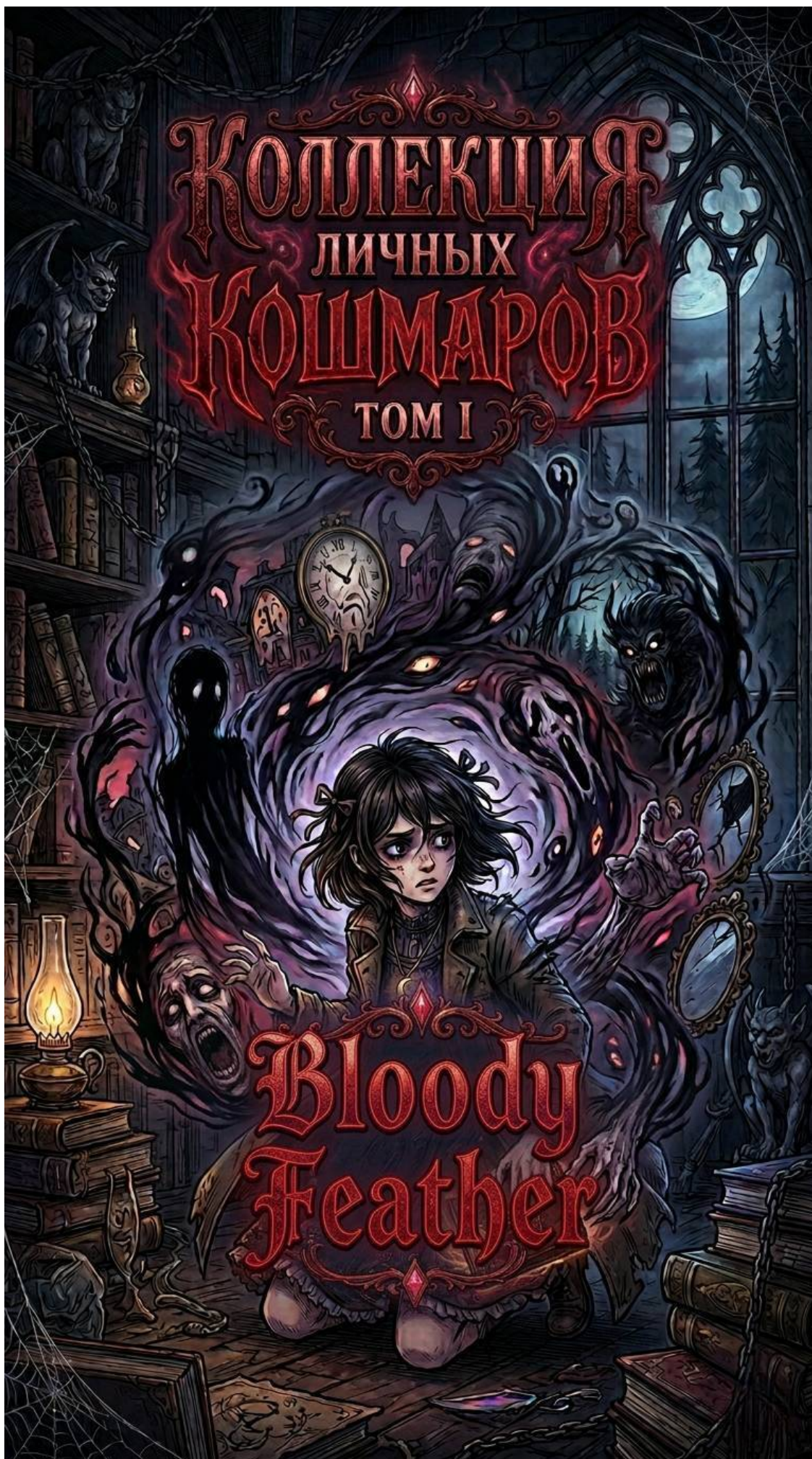
Содержание

Альтернативные обложки	5
История №1. Поцелуй покойницы	10
История №2. Дар пустоты	24
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Егор Конюшенко
Коллекция личных кошмаров. Том I

Альтернативные обложки





История №1. Поцелуй покойницы



Поцелуй ПОКОЙНИЦЫ

Я сижу в общаге. Три часа ночи. За окном фонарь мигает, свет жёлтый, неровный. И там, в этом свете, только что стояла женщина. И об этой женщине я бы хотел вам рассказать. Но я начну с самого старта.

Если вы думаете, что самое страшное в морге — это покойники, то зря. Самое страшное — тишина. Она не как в библиотеке. Она густая, вязкая, будто кисель. Только холодильники гудят, и от этого гула зубы ноют.

Я стоял в предбаннике перед секционной, натягивал халат. Пахло хлоркой и чем-то казённым. Морг у нас старый, плитка на полу выщерблена, лампа над входом мигает, словно дёргается.

— Горелов! — голос Бориса Ильича раздался из-за приоткрытой двери раздевалки. Он всегда выходил неожиданно, как из-за угла.

Патологоанатом Борис Ильич Шпагин был похож на старого учёного, который забыл снять фартук после работы. На фартуке — бурые пятна. Он смотрел всегда чуть выше глаз, и от этого становилось не по себе.

— Слушай сюда, студент, — он потянул носом воздух. — Дежуришь первый раз, вскрытый не будет. Работа простая. Видишь дверь с цифрой три?

Я кивнул, стараясь не дёргать кадыком.

— В третьей секционной у нас женщина. Неопознанная. Привезли сегодня. Номер Пять-Сорок Семь. Завтра приедет начальство, будут смотреть. Ты её переложи с железного лотка на каталку. Простыню свежую постели. И проверь бирки на ноге и на руке. Чтобы не перепутались. Понял?

— Понял. Переложить и бирки, — ответил я, стараясь говорить уверенно.

Он уже пошёл, но остановился и бросил через плечо:

— Ты там долго не сиди. Она молодая, красивая. Но в лицо ей не смотри. Сделал дело — и в дежурку. Там чайник, печенье.

Я хотел спросить почему, но он уже ушёл. Я остался один перед дверью в секционную номер три.

Я медленно пошёл по коридору. Шаги гулко отдавались от стен. «Пять-Сорок Семь». Почему именно сегодня? Почему не просто посидеть с чаем и конспектами? А тут — возись с телом один, ночью, в пустом здании.

Я толкнул дверь в третью секционную. Пахнуло холодом, формалином и чем-то сладковатым. Меня чуть не стошнило. Зажёгся синеватый свет. Посередине стояла каталка с чистой простыней. Слева — стенка холодильников.

Я подошёл к нужной ячейке. На ручке висела бирка: «№ 5-47. Жен. Неопозн. Пост. 14.10.».

Я взялся за холодную ручку. Сейчас открою. Там будет она. Мой первый покойник на ночном дежурстве.

— Ну, здравствуй, Пять-Сорок Семь, — прошептал я. — Давай знакомиться. Только без фокусов.

Я потянул ручку на себя, и ящик с тихим шорохом выехал из холодильника. Белый густой пар перевалился через край и пополз вниз, обдав ноги холодом.

Первый взгляд — самый трудный. Нам на психологии говорили, что мозг боится мёртвого лица, потому что не видит на нём привычных движений. Но, по-моему, дело в другом. Ты смотришь на того, кто уже там, за чертой. И эта черта вдруг кажется очень близкой.

Она лежала на железном лотке, накрытая до подбородка старой простыней с синим штампом «МОРГ №2». От простыни пахло чем-то кислым, больничным.

Я заставил себя посмотреть на лицо. И замер.

Она была молодая. Лет двадцать пять, не больше. Тёмные волосы, густые, волнистые, разметались по серой подушке. Не крашенные, свои, с каштановым отливом при свете лампы. Кожа ещё не стала синей, осталась цвета слоновой кости.

Но больше всего меня удивило лицо. Я ждал страха или пустоты. А увидел покой. Губы мягко сомкнуты, веки опущены, ресницы лежат на щеках.

Тут лампа опять моргнула. Тень от моей головы качнулась по её лицу. И мне показалось, что уголок её губ дрогнул и чуть приподнялся. На секунду появилась улыбка. Не страшная, а застенчивая. Будто она хотела сказать: «Ну здравствуй, Арсений. Я тебя ждала».

Я тряхнул головой. «Свет виноват, Горелов. Ты в морге. Труп не улыбается. У трупа мышцы не работают. Учил ведь».

Чтобы отвлечься, я решил проверить бирки. Одну нашёл на пальце ноги — приподнял простыню, увидел номер «5-47» и сразу опустил обратно. Вторая должна быть на запястье, но её не было видно.

Я наклонился ниже, разглядывая правую руку. Заметил прядку волос, упавшую на лоб. Под ней что-то темнело. Я протянул руку — пальцы тряслись — и осторожно сдвинул волосы.

Это была царапина. Свежая. Тонкая красная полоска сантиметра три, от волос почти до брови. Кровь запеклась, но края чистые, без гноя. Такие царапины бывают, когда цепляешься лицом за ветку. Или когда кто-то хватается за голову.

— Откуда ты такая, Пять-Сорок Семь? — прошептал я. — Кто тебя поцарапал?

Холодильник ровно гудел. Я смотрел на царапину и чувствовал, как внутри растёт тревога. Борис Ильич сказал: нашли в лесополосе за свалкой, причина смерти неизвестна, следов насилия нет. Но царапина вот она. Свежая. И почему мне кажется, что это не просто так?

Я отошёл за каталкой. Пора было переключивать. Но перед этим я ещё раз глянул на её лицо. И снова почудилась та же ускользающая полуулыбка.

— Хватит, — сказал я вслух, злясь на себя. — Ты мёртвая. Я живой. У нас дело: переложить, бирки проверить, и всё.

Она молчала. Но в тишине, за гулом холодильников, мне послышался тихий вздох. Или это просто вентиляция.

Я сжал зубы и пошёл к каталке, стараясь не думать о том, что царапина похожа на след от когтей. Чьих? Может, её собственных, когда она пыталась что-то сорвать с лица?

Я подкатил каталку вплотную к выдвинутому ящику. Колёсики скрипнули по кафелю, звук громкий в пустой комнате. Простыня на каталке была жёсткая от крахмала.

— Ну давай, Пять-Сорок Семь, переселяйся, — сказал я, пытаюсь говорить спокойно.

Обычно тела переключивают вдвоём: один держит плечи, другой ноги. Но я один. Придётся самому: сначала верхнюю часть, потом ноги.

Я глубоко вздохнул и наклонился над ней. Запах формалина стал слабее, появился другой. Станный. Пахло не гнилью, а ландышами. Может, нос обманывает.

Я просунул правую руку под её плечи. Ткань сорочки тонкая, холод кожи чувствуется сразу. Пальцы коснулись затылка, влажные волосы обвили запястье.

Левую руку я положил ей под спину, чтобы поднять тело. Моя ладонь скользнула по простыне и легла на её правую руку. Пальцы соприкоснулись: мои тёплые, её ледяные и твёрдые.

И вдруг — разряд.

Не сильный, как от розетки. Скорее укол в ладонь, потом волна покалывания до локтя. Будто схватился за провод под напряжением. Импульс короткий, но ясный. Я отдернул руку и выпрямился.

Свет погас.

Не мигнул, не замерцал. Просто исчез. Полная, чёрная темнота. Я застыл. Слышно только моё дыхание и низкий гул холодильников.

Потом зажглась аварийная лампа.

Она горела над дверью тусклым красным светом. Комната сразу стала другой. Всё окрасилось в багровый цвет. Стены как запёкшаяся кровь. Простыня на каталке будто из операционной. Мои руки красные. А лицо женщины...

В красном свете её лицо изменилось. Глазницы стали глубокими ямами. Скулы заострились. Полуулыбка теперь выглядела как оскал.

Я попятился, спиной упёрся в столик с инструментами. Что-то звякнуло и упало на пол. Я не мог отвести глаз от её лица.

И тут её веки дрогнули.

Я видел это чётко в багровом свете. Тяжёлые синюшные веки задрожали мелкой дрожью. Потом медленно поползли вверх. Под ними не было глаз. Только две мутные белые полусферы. Как у варёной рыбы. Бельма, затянута плёнкой.

Но они смотрели. Прямо на меня. Этот белый слепой взгляд впивался в лицо, узнавал меня.

Воздух стал ледяным. Из рта пошёл пар. Я хотел закричать, но горло сжалось. Хотел бежать, но ноги не слушались. А женщина лежала неподвижно и смотрела на меня мёртвыми глазами. Только губы, кажется, чуть шевельнулись. Будто она хотела что-то сказать, но не могла.

— Этого не может быть, — прошептал я чужим голосом. — Ты мёртвая.

В ответ стало ещё тише. А потом я услышал звук. Тихий, влажный шорох. Так шуршит мокрая ткань, когда её мнут в руке.

Это шевелились её пальцы на простыне. В красном свете я видел это ясно. Её рука с длинными ногтями и облупившимся тёмным лаком медленно сжималась и разжималась на простыне. Движения были дёрганные, будто кто-то учился управлять куклой.

Я попятился и снова упёрся спиной в столик. На этот раз не удержался. Лоток с инструментами с грохотом упал на пол, всё рассыпалось по кафелю. Звук ударил по нервам.

А она начала подниматься.

Не как живой человек, с усилием. А плавно, без напряжения, будто её тянули вверх за грудь. Спина прямая, словно палка. Простыня сползла, открыв сорочку со штампом.

В красном свете она казалась тёмной фигурой. Сидела на каталке, покачиваясь, голова упала на грудь, волосы закрыли лицо.

Потом хрустнула шея.

Звук громкий и сухой, как треск ветки. Голова начала поворачиваться в мою сторону. Медленно, с щелчками позвонков. Она поворачивала голову слишком далеко, как живой человек не может.

Волосы упали с лица. Снова эти белые глаза без зрачков. В красном свете они казались налитыми кровью.

Я хотел закричать. Воздух застрял в горле. Получился только сип.

Она приоткрыла рот. Челюсть отвисла с чавкающим звуком. Рот открылся шире, чем у человека. Тёмная щель без звука. Только сладковатый запах ударил в нос.

Хуже всего — она пыталась говорить. Губы шевелились без звука, складывались в слова. От этого стало совсем жутко.

Ноги сработали быстрее головы.

Я рванулся в сторону, поскользнулся на инструментах, хрустнуло стекло под ногой. Я не оборачивался. Краем глаза видел, что она сидит на каталке и голова поворачивается за мной, а рот беззвучно открывается.

Дверь. Где дверь?!

Нащупал холодную ручку, налёг всем телом и вывалился в коридор, ударившись плечом. В коридоре горел нормальный жёлтый свет. Я пробежал несколько шагов и вдруг понял.

Я оставил дверь открытой.

Ужас сменился паникой. Если это выйдет в коридор? Если пойдёт за мной?

Я развернулся. Ноги дрожали. Дверь в третью секционную была настежь, из неё лился красный свет. Я не видел, что внутри. И не хотел.

Собравшись с силами, я бросился обратно. Схватился за дверь, зажмурился и захлопнул её. Удар гулко разнёсся по коридору. Дрожащими пальцами нащупал задвижку и с лязгом задвинул её.

Я прижался лбом к холодной двери и пытался отдышаться. Слушал.

За дверью тихо. Только гул холодильника сквозь стены и моё рваное дыхание.

Я отодвинулся и посмотрел на руки. Они тряслись. Ладони мокрые от пота. А левая ладонь, которой коснулся её руки, горела. В центре пульсировала горячая точка.

Я взглянул на запертую дверь. На ней табличка: «Секционная №3. Вход только в спец-одежде». Обычные буквы, но теперь они казались зловещими.

И вдруг из-за двери раздался звук. Тихий, но ясный. Скрип колёсика каталки по полу.

Она сдвинулась с места.

Не помня себя, я развернулся и побежал по коридору. Подальше от третьей секционной. Подальше от красного света. Подальше от неё.

Коридор летел мимо меня серой лентой. Кафель на полу мелькал, сливаясь в сплошное белое пятно. Я бежал, не чувствуя тела — только стук сердца в ушах и свист дыхания. Левая ладонь горела огнём.

Где-то впереди была дверь на улицу. Тяжёлая, с наклейкой «Запасной выход». Свобода. Свежий воздух. Живой мир. Я проскочил мимо каморки дежурного санитаря. Там было темно, дверь приоткрыта, пахло табаком и кофе. Ещё двадцать метров — и я выйду. Позвоню Борису Ильичу. Пусть орёт, пусть увольняет. Главное — убраться отсюда.

И тут ноги сами замедлились.

Я остановился посреди коридора, тяжело дыша. Пот заливал глаза. Перед глазами всё ещё стояла она: сидит на каталке, голова вывернута, белые бельма смотрят на меня, рот беззвучно шевелится.

«Ты труп, — сказал я себе. — Ты видел труп. Труп не может сесть. Труп не может открыть глаза. Это галлюцинация. Переутомление. Нервы. Первое дежурство».

Но внутренний голос возразил: «А если не галлюцинация? Если она правда села? И ты оставил её там одну».

Я выпрямился. Коридор впереди уходил вправо, к выходу. Позади оставалась дверь в секционную. Я стоял между ними. Бежать или проверить?

«Надо убедиться, — подумал я. — Заглянешь в окошко, увидишь её лежащей и успокоишься. Поймёшь, что всё привиделось. Пойдёшь пить чай с печеньем».

Звучало разумно. Но всё тело кричало: не ходи.

Я развернулся. Медленно пошёл обратно по коридору. Шаг. Ещё шаг. Кроссовки скрипели по кафелю. В мёртвой тишине этот звук казался громким. Даже холодильники притихли.

Вот и дверь. Белая, с облупившимся косяком и стальной задвижкой. Задвижка на месте. Это хорошо. Если бы она пыталась выйти, задвижка была бы сорвана.

На двери, чуть выше глаз, было зарешечённое окошко. Квадратное, с мутным стеклом и сеткой. Такие делают в дверях психбольниц. Чтобы видеть, но не быть замеченным.

Я подошёл вплотную. Сердце колотилось в горле. Ладони мокрые. Я вытер их о штаны, приподнялся на цыпочки и заглянул в окошко.

В секционной было темно. Не просто выключен свет, а полная, плотная чернота. Красная лампа погасла. Или её выключили. Или...

Я прижался лбом к стеклу, вглядываясь. Глаза привыкали к темноте. Вот столик у стены. Вот открытая дверца холодильника — я так и не задвинул ящик. А вот посреди комнаты...

Каталка.

Она стояла на месте. Но что-то было не так. Я напряг зрение.

На каталке белела простыня. Та самая, накрахмаленная, с синим штампом. Она лежала скомканная, будто её сорвали и бросили.

А тела не было.

Я моргнул. Протёр глаза и снова прильнул к стеклу.

Пусто.

Каталка была пуста. Только скомканная простыня белела в темноте. Её край свисал до пола, создавая тень, похожую на скорченную фигуру. Но это была только тень.

Женщина исчезла.

У меня перехватило дыхание. Я отшатнулся от окошка. Этого не могло быть. Я сам запер дверь снаружи. Задвижка цела. Окон в секционной нет. Вентиляция узкая.

Она не могла уйти. Но её там не было.

Я снова припал к стеклу, обшаривая взглядом каждый сантиметр. Может, она упала? Лежит на полу за каталкой?

Я посмотрел вниз. У края каталки, где простыня касалась пола, что-то темнело. Маленькое. Похожее на босую ступню.

Сердце пропустило удар. Я отпрянул, прижавшись спиной к стене. Дверь передо мной — запертая, надёжная. Но теперь это казалось насмешкой. Потому что если она уже внутри, то запирает дверь бессмысленно.

Я вспомнил скрип колёсика. Она сдвинулась с места. Двигалась. И теперь её нет на каталке.

В коридоре было тихо. Слишком тихо. Даже холодильники, кажется, перестали гудеть. Я стоял, вжавшись в стену, и слушал эту глухую тишину. Где-то там, за моей спиной, были другие помещения — подсобки, архив, лестница. Тёмные коридоры.

И где-то там была она. С тёмными волосами и царапиной на лбу. С белыми глазами. В казённой сорочке. С биркой на ноге. Пять-Сорок Семь.

Я отлепился от стены и на ватных ногах пошёл обратно по коридору. Туда, где в конце была каморка дежурного санитаря. Там дверь с замком. Телефон. Хоть какое-то укрытие.

Я шёл, стараясь не смотреть по сторонам. Боялся увидеть в боковых проходах белое пятно сорочки или услышать за спиной шлёпающие шаги босых ног.

И всю дорогу меня не покидало чувство, что кто-то смотрит мне в спину. Кто-то, кому я понадобился. Кто-то, кто выбрался из холодильника и теперь ищет меня.

Ведь я коснулся её руки. И она открыла глаза.

Она видела меня. Запомнила. И теперь, кажется, пришла за мной.

Я не помню, как добежал до каморки. Помню только, как захлопнул дверь, прижался к ней спиной и дрожащими руками задвинул щеколду. Тонкая железка, которая в обычной жизни никого не остановит, теперь казалась единственной защитой от того, что бродило по коридорам.

Каморка дежурного санитаря была маленькой, как тюремная камера. Узкая койка с серым одеялом, старая тумбочка с чайником и пыльный телевизор под потолком. Пахло пылью, носками и табаком.

Я не стал включать верхний свет. Боялся, что яркая лампочка сделает меня заметным. Включил только маленький ночник у кровати — тусклый, оранжевый, с абажуром в виде гриба. С ним было чуть спокойнее.

Я сел на край койки, обхватил голову руками. Пальцы дрожали. Я сжал их в кулаки, но дрожь не унималась. Перед глазами стояла каталка, скомканная простыня и пустота там, где лежала Пять-Сорок Семь.

Телефон. Надо позвонить!

Я схватил трубку старого аппарата на тумбочке. Гудок есть. Набрал номер Бориса Ильича, выученный в первый день практики. Длинные гудки. Пять. Шесть. Семь. Никто не отвечал. Видимо, он отключил телефон и спал.

Я бросил трубку. Я остался один. В здании, где только что на моих глазах ожил труп.

До рассвета ещё несколько часов. Самых длинных в моей жизни.

Я сидел на койке, поджав ноги, и слушал. Каждый звук теперь имел значение.

Где-то щёлкнул холодильник. В трубах что-то булькнуло. Скрипнула половица в коридоре — старая, разошедшаяся, всегда скрипела от перепада температуры. Я знал это умом. Но сердце всё равно замирало.

А потом я слышал шаги.

Тихие, мягкие, шлёпающие. Так ходят босиком по холодному кафелю. Шаг. Пауза. Ещё шаг. Звук приближался.

Я замер. Глаза впились в щеколду на двери — тонкую, почти игрушечную. Если та тварь захочет войти, её ничто не остановит.

Шаги остановились. Прямо за дверью.

Я смотрел на ручку, ожидая, что она начнёт поворачиваться. Секунда. Две. Десять. Тишина. Только кровь стучит в висках. А потом раздался звук. Тихий, осторожный скрежет. Будто кто-то водил ногтем по дереву. Медленно, сверху вниз.

Царап-царап-царап.

Я зажал рот рукой, чтобы не закричать. Ноготь царапал дверь с той стороны — тот самый, с облупившимся тёмным лаком. Я узнал этот звук.

Это длилось вечность. Потом стихло. Шаги удалились по коридору.

Остаток ночи я не спал. Сидел, смотрел на дверь и слушал. Иногда казалось, что я слышу её снова — далёкий скрип двери, плеск воды, тихое дыхание за стеной. Но к камерке она больше не подходила.

Когда за маленьким окошком под потолком начало светать, я почувствовал облегчение. Рассвет. Скоро придёт Борис Ильич, и кошмар закончится.

Я услышал, как хлопнула входная дверь. Тяжёлые шаги загремели по коридору — не босые, а грузные, в сапогах. Борис Ильич пришёл.

Я вскочил, открыл щеколду и вылетел в коридор. Патологоанатом стоял у своего кабинета в халате, с кружкой кофе. Увидев моё лицо, он нахмурился.

— Горелов? Ты что, не спал? Выглядишь как покойник. Что случилось?

— Борис Ильич... — голос сорвался. — Там... в третьей секционной... тело. Пропало.

Он посмотрел на меня поверх кружки с недоверием.

— Что значит «пропало»? Ты переложил его, как я велел?

— Я... я не успел. Оно... она... — я запнулся, понимая, как глупо это звучит. — Она села, Борис Ильич. Открыла глаза. Я запер дверь, а когда заглянул — её уже не было.

Патологоанатом медленно поставил кружку и пошёл к третьей секционной. Я поплёлся следом.

Он распахнул дверь и застыл. Я заглянул через его плечо.

В секционной горел яркий свет. Каталка пустая, простыня скомкана. Дверца холодильника открыта, ящик пуст. Тела нет.

Борис Ильич повернулся ко мне. Лицо покраснело, на лбу вздулась вена.

— Горелов... — сказал он тихо, но с угрозой. — Ты совсем с ума сошёл?

— Борис Ильич, я всё объясню...

— Молчать! — рявкнул он. — Я тебя на практику взял, думал нормальный парень. А ты что устроил? Где тело, я тебя спрашиваю?! Пять-Сорок Семь! По ней завтра экспертиза!

— Я не знаю, где оно! — закричал я. — Я правду говорю! Она села на каталке! Смотрела на меня! Глаза белые, как у варёной рыбы! Потом исчезла!

Борис Ильич прищурился, взял меня за подбородок и повернул лицо к свету.

— Зрачки расширены, — сказал он с отвращением. — Руки трясутся. Алкоголем не пахнет, но это неважно. Ты что, Горелов, обкурился? Таблеток наглотался? Или просто крыша поехала от первого дежурства?

— Я ничего не принимал! — я вырвался. — Клянусь!

— Клянётся он, — хмыкнул патологоанатом, оглядывая пустую комнату. — Тогда где тело? Улетело? Испарилось? Или, может, ты его продал? Студенты иногда воруют трупы для анатомички. Это статья, между прочим.

— Да кому я его продам?! — закричал я. — В Зареченске? Ночью? Я даже не знаю никого!

— Может, дружки в общаге ждут, — он пожал плечами. — Или сам решил пошутить. Спрятал труп, чтобы утром посмотреть, как я бегаю. Признавайся, Горелов, где тело? В подсобке? В шкафу? В туалете?

— Нет там тела! — почти кричал я. — Она сама ушла!

Борис Ильич устало потёр переносицу. Подошёл к телефону в углу, набрал номер.

— Алло? Сергеич? Это Шпагин из морга. У меня ЧП. Труп пропал. Женский, неопознанный. Прямо из холодильника. Присылай наряд. Да, практикант, похоже, замешан. Нет, не пьяный, но с головой не в порядке. Жду.

Он повесил трубку и повернулся ко мне. Взгляд стал тяжёлым и усталым.

— Слушай сюда, Горелов, — сказал он тихо. — Сейчас приедут менты. Ты им про «села на каталке» и «белые глаза» не рассказывай, если не хочешь в психушку. Скажешь: задремал, проснулся — тела нет. Может, кто-то проник. Халатность, выговор, отчисление. Это максимум. Но если будешь нести чушь про живых покойников — я тебе не завидую. Понял?

Я молча кивнул. В висках стучало, левая ладонь горела, а перед глазами стояла она — сидит на каталке, поворачивает голову, открывает рот.

Борис Ильич вздохнул, достал из кармана пачку «Беломора» и закурил прямо в секционной.

— Эх, Горелов, Горелов, — выпустил он дым к потолку. — И зачем я тебя одного на ночь оставил? Нельзя молодых одних в морг пускать. Фантазия бурная, а мозгов мало.

Я не ответил. Я стоял, сжимал и разжимал горящую ладонь и чувствовал, как под кожей пульсирует что-то чужое, холодное. Что-то, что появилось, когда я коснулся её руки.

Борис Ильич не верил мне. Менты не поверят. Никто не поверит. Но я знал правду. Она ушла. Она где-то там, за стенами морга. И почему-то мне казалось, что наше знакомство только начинается.

Наряд приехал через сорок минут. Двое в форме и один в штатском — тот самый следователь Сергеич. Фамилия Рябов, но все звали по отчеству. Грузный мужик лет пятидесяти с усталым лицом. Мешки под глазами, серый цвет кожи, галстук сбит набок, взгляд равнодушный.

Он вошёл в секционную, даже не поморщился от запаха. Оглядел пустую каталку, скомканную простыню, открытый ящик холодильника. Двое молодых оперативников начали осматривать помещение, заглядывать в углы, фотографировать на телефоны.

— Следов взлома нет, — сказал один, ощупав дверной косяк. — Замки целые, окон нет. В вентиляцию только хорёк пролезет.

— Значит, свой, — равнодушно сказал Рябов и посмотрел на меня. — Практикант, значит?

Я стоял у стены. Голова гудела, левая ладонь горела. Я спрятал руку в карман халата, чтобы никто не увидел синеватые прожилки на коже.

— Арсений Горелов, — сказал я. — Студент третьего курса. Практика.

— Ясно, Арсений Горелов, — Рябов достал потёртый блокнот. — Давай по порядку. Ты заступил на дежурство вчера. Тебе поручили переложить тело номер Пять-Сорок Семь. Что было дальше?

Я замер на секунду. Вспомнил слова Бориса Ильича про психушку. Стиснул зубы и начал врать.

— Я выдвинул ящик. Начал перекаладывать тело. Потом мне стало плохо — голова закружилась, наверное, от запаха. Я вышел в коридор подышать. Присел у стены, кажется, задремал. А когда вернулся — тела уже не было.

Враньё давалось тяжело. Язык заплетался, я отводил глаза. Рябов смотрел на меня не мигая.

— Задремал, значит, — повторил он. — А дверь оставил открытой?

— Не помню. Может, и открытой. Я был не в себе.

— Не в себе, — снова повторил следователь и что-то записал. — Борис Ильич, кому могло понадобиться это тело?

Патологоанатом стоял у окна и курил в форточку. Пожал плечами.

— Сергеич, сам знаешь. Труп неопознанный, документов нет, родственников нет. Идеальный материал для чёрных трансплантологов. Почки, печень, роговица — всё свежее. Может, кто-то из санитаров навёл.

— Санитары проверены?

— Обижаешь. У меня каждый с двадцатилетним стажем. Кому надо — давно бы попался.

— Значит, новенький, — Рябов снова посмотрел на меня. — Горелов, ты ни с кем не договаривался? Может, друзья попросили для учёбы? Студенты вечно жалуются, что трупов не хватает.

— Нет! — выпалил я. — У меня нет таких друзей. Я первый раз в морге. Я никого здесь не знаю!

— Тихо, тихо, — он поднял ладонь. — Я просто спрашиваю.

Он продолжал писать, а я стоял и чувствовал, как внутри закипает отчаяние. Они не верят. Они уже всё решили: студент уснул, а тело украли какие-то похитители. Или сам продал, а теперь врёт.

Оперá закончили осмотр и подошли к Рябову.

— Товарищ майор, следов нет. Ни взлома, ни борьбы, ни крови. Только вот, — один протянул пакетик с осколком пробирки. — На полу нашли. Практикант говорит, уронил, когда ему плохо стало.

— Ясно, — Рябов взял пакетик, покрутил и сунул в карман. — Ладно, будем считать — кража биоматериалов. Возбудим дело, спустим на тормозах. Всё равно неопознанная, никто искать не будет.

Он захлопнул блокнот и посмотрел на меня.

— Горелов, выйди-ка в коридор. Поговорить надо.

Сердце ёкнуло. Я пошёл за ним. В коридоре Рябов остановился, достал сигареты, предложил мне. Я отказался. Он закурил, выпустил дым в потолок.

— Слушай сюда, студент, — сказал он тихо. — Я не знаю, что у тебя там на самом деле было. Может, уснул, а тело спёрли. Может, сам продал — мне пофиг. Труп неопознанный, всяк глухой. Но есть нюанс.

Он затаился и посмотрел на меня в глаза.

— Твоя версия про «стало плохо» и «задремал» для протокола сойдёт. Но если кому-то начнёшь рассказывать про мертвецов, которые ходят и глаза открывают — у тебя будут проблемы. С психиатрами. Понял?

Я кивнул.

— Вот и молодец, — он хлопнул меня по плечу. — Держи язык за зубами, доучивайся. А эту ночь забудь. В морге и здоровые мужики иногда такое видят, что потом водкой заливают.

Он развернулся и пошёл обратно, бросив через плечо:

— Борису Ильичу спасибо скажи. Без него я бы тебя по всей форме допрашивал. Считаю, легко отделался.

Я остался в коридоре один. Прислонился к стене, закрыл глаза. Легко отделался. Меня обвинили в халатности, а может, и в краже, пригрозили психушкой и велели забыть самую страшную ночь в жизни. И это называется «легко».

Я открыл глаза и посмотрел на левую ладонь. На свету было видно, как под кожей разбегаются тонкие синие ниточки. Они складывались в узор, похожий на отпечаток губ. Будто кто-то поцеловал ладонь изнутри.

Полицейские ушли через полчаса, забрав мои лживые показания. Борис Ильич вернулся в секционную, где я всё ещё стоял у пустой каталки.

— Свободен до завтра, Горелов, — бросил он. — Иди в общагу, отоспись. Завтра к восьми. И без фокусов.

— Борис Ильич... — начал я, но он перебил:

— Иди уже. Что бы тебе ни померещилось — оно осталось в этой ночи. Утро всё меняет.

Я не стал спорить. Вышел в коридор, толкнул входную дверь и вышел на улицу.

Утро действительно изменило всё. Солнце поднималось над крышами, свет был бледный, жёлтый. Воздух морозный, пахло листвой и зимой. Обычный ноябрьский рассвет.

Но для меня этот рассвет был другим. Потому что я знал: то, что случилось ночью, не закончилось. Оно только началось. И утро ничего не изменит.

Я сунул горящую ладонь глубже в карман и пошёл к общаге, стараясь не оглядываться на серое здание морга за спиной. Но кожей чувствовал: оттуда, из тёмных окон третьей секционной, кто-то смотрит мне вслед.

Кто-то с тёмными волосами и царапиной на лбу.

Кто-то, кого больше нет на каталке.

Общага встретила меня запахом подгоревшей гречки и гулким эхом шагов в пустом вестибюле. Вахтёрша, баба Зина — старая, с лицом печёного яблока и папиросой в зубах — даже не подняла головы от вязания. Только буркнула что-то, когда я проходил мимо.

Я поднялся на третий этаж по скрипучей лестнице, стараясь не смотреть в тёмные окна. Ключ долго не попадал в замок — пальцы всё ещё дрожали.

Комната была маленькая, на двоих, но сосед Витька ещё с вечера уехал к родителям. Это к лучшему. Сейчас я не вынес бы расспросов.

Я рухнул на кровать, не раздеваясь. Пружины скрипнули. В голове шумело, перед глазами стояла пустая каталка, скомканная простыня и открытая дверца холодильника. И шаги — мягкие, шлёпающие по кафелю.

Левая ладонь горела. Я уже почти привык к этому за ночь. Но сейчас, в тишине, жжение усилилось. Будто к коже приложили лёд с крапивой — и холодно, и обжигает.

Я поднёс руку к лицу и посмотрел на ладонь.

И похолодел. Мои подозрения оправдались. Посиневшие капилляры складывались в рисунок. В центре ладони, где я коснулся её руки, синие ниточки сплетались в вытянутый овал. А вокруг расходились тонкие линии, похожие на отпечаток губ.

Это был след от поцелуя.

Я смотрел на ладонь и чувствовал тошноту. Это не ожог. Не аллергия. Не совпадение. Слишком чёткий рисунок. Слишком осмысленный.

Она оставила на мне метку.

Я вскочил и бросился к умывальнику. Холодная ржавая вода потекла из крана. Я сунул ладонь под струю и начал тереть. Мыло. Ещё мыло. Жёсткая мочалка.

Бесполезно.

Синие линии не бледнели. Они становились только ярче. Будто насмехались.

Тогда я схватил флакон спирта — медицинского, девяносто шесть процентов. Плеснул на ватку и прижал к ладони.

Боль.

Острая, обжигающая, пронзила руку до локтя. Я зашипел, но не убрал ватку. Пусть жжёт. Пусть выжжет эту метку.

Когда я отдёргнул руку, мне захотелось заорать.

Узор стал ярче. Спирт будто проявил его, как фотографию. Теперь я видел каждую чёрточку. Это был не просто отпечаток. Это был портрет поцелуя — впившегося в кожу изнутри.

Я сел на край ванны и уставился на руку. В голове было пусто.

Что это значит? Почему она оставила метку на мне? Зачем?

Я вспомнил её лицо в красном свете. Спокойное, почти красивое. Тёмные волосы на подушке. Царапина на лбу. И полуулыбка — будто она знала что-то, чего не знал я. Будто ждала.

«Ты коснулся её руки, и она открыла глаза, — прошептал внутренний голос. — Ты разбудил её. Теперь она идёт за тобой».

Я замотал головой. Нет. Это усталость и нервы. Надо просто поспать.

Я вышел из ванной, задёрнул шторы. В комнате стало сумрачно, и в этом сумраке узор на ладони слабо светился. Я лёг на кровать и укрылся с головой.

Спать. Просто спать.

Проснулся я оттого, что в комнате было почти темно. За окном догорал закат — узкая оранжевая полоса над крышами. Часы показывали начало шестого. Я проспал весь день.

Метка всё так же пульсировала на ладони. Никуда не делась. Я перевернулся на спину и уставился в потолок. Надо было чем-то занять себя до ночи, чтобы не сойти с ума от ожидания.

Я включил чайник, заварил себе растворимый кофе — горький, обжигающий. Сделал пару глотков и вылил остатки в раковину. Есть не хотелось. Пробовал читать конспекты, но буквы расплывались перед глазами. Включил радио — поймал какую-то помеху и тут же выключил. Слишком много шума. Слишком тихо без него.

В коридоре хлопали двери, кто-то смеялся, потом всё стихло. Общага засыпала. Я сидел на кровати, смотрел на тёмное окно и чувствовал, как с каждой минутой растёт напряжение. Будто воздух сгущался.

К полуночи я выключил ночник и попытался уснуть по-настоящему. Лёг, закрыл глаза, начал считать дыхание. Раз. Два. Три.

Сон не шёл. Я лежал в темноте, прижимал к груди левую руку и чувствовал, как метка пульсирует в такт сердцу. Тук-тук. Тук-тук. Будто второе сердце в ладони.

И ещё я чувствовал её.

Не знаю, как объяснить. Слабый запах. Не ландыши, как в морге, а что-то другое. Влажная земля после дождя. Прелая листва. И лёгкий аромат дешёвых цветочных духов.

Она была где-то рядом. Я знал это точно. Она ушла из морга, но не ушла из моей жизни. Метка на ладони — доказательство. Печать, подписанная моей кровью и её ледяным прикосновением.

Я сжал ладонь в кулак.

— Кто ты? — прошептал я в темноту. — Чего ты хочешь?

Ответа не было. Только тиканье будильника и далёкий гул машин. И пульсация метки — ровная, настойчивая.

Я не заметил, как поднялся с кровати и подошёл к окну. Штора была задёрнута, но сквозь щель пробивался жёлтый свет уличного фонаря. Я отдёргнул ткань и выглянул на улицу.

Внизу двор — квадрат асфальта с чахлыми тополями. Напротив старый трёхэтажный дом с облупившейся штукатуркой. А перед ним фонарь. Старый, советский, с ржавым колпаком и тусклой жёлтой лампой. Он горел вполнакала, разливая по асфальту жидкое сияние.

И под ним кто-то стоял.

Сначала я подумал — тень или мотоцикл. Но тени не бывают такими неподвижными. А мотоциклы не носят больничных халатов.

Это была женщина.

Она стояла под фонарём неподвижно, как восковая фигура. Руки опущены, плечи ссутулены, голова поднята. Длинный светло-серый халат висел мешком. Из-под подола выглядывали босые ступни. Волосы тёмные, густые, закрывали лицо почти полностью, виден только лоб.

Лоб, на котором под прядью волос пряталась царапина.

Сердце ударило в рёбра. Воздух в комнате стал ледяным, хотя батарея грела. Я вцепился в подоконник.

Это была она. Пять-Сорок Семь. Женщина из морга, которая вчера ночью села на каталке и исчезла. Та, чьё прикосновение оставило на моей ладони эту метку.

Она стояла и смотрела. На моё окно. На меня.

Метров двадцать, не больше. Я видел её отчётливо. Как ветер шевелит подол халата и волосы. Как жёлтый свет падает на лицо, освещая скулы и подбородок. Как губы плотно сжаты в тонкую линию.

Но самое страшное — глаза. Я не видел их за волосами, но чувствовал взгляд. Тяжёлый, мутный, белый. Взгляд без зрачков, но видящий меня насквозь.

Сколько мы так простояли — не знаю. Минуту, час, вечность. Я не мог пошевелиться, не мог отвести взгляд. Будто её глаза парализовали меня.

А потом я зажмурился. Это вышло само — как дети зажмуриваются от страха, надеясь, что чудовище исчезнет. Я сжал веки до боли и начал считать. Раз. Два. Три. На счёт «три» я открыл глаза.

Фонарь был пуст.

Жёлтый свет лился на асфальт, тени от веток качались. Но под фонарём никого. Только ветер гнал обрывок газеты. Я выдохнул. Может, показалось? Может, игра света и воображения? Может, мне просто надо отоспаться и забыть эту ночь?

Я почти поверил. А потом посмотрел на оконное стекло. На стекле, с внутренней стороны, был отпечаток. Я не заметил его сразу, потому что смотрел на улицу. Теперь увидел. Тонкий, полупрозрачный, будто вытравленный на заиндевевшем стекле. Отпечаток ладони. Пять пальцев, линии жизни, ума, сердца. Отпечаток был синеватым. Того же цвета, что и метка на моей левой ладони.

Я медленно поднёс левую руку к стеклу. Растопырил пальцы. Приложил ладонь к отпечатку. Они совпали. Идеально. Только зеркально. Моя ладонь легла поверх её следа, и узоры — те самые капиллярные сети, похожие на поцелуй — были отражением друг друга. Левая и правая. Оригинал и негатив. Моя рука и её рука.

Она не просто стояла под фонарём. Она была здесь. Прямо за этим стеклом. Прижималась ладонью с той стороны и смотрела на меня. Когда я зажмурился, она исчезла. Но след остался.

Я отдёргнул руку, будто стекло обожгло. Отпечаток её ладони медленно таял, растворялся, как дыхание на морозе. Через минуту ничего не осталось. Только моё отражение в тёмном окне: бледное лицо, трясущиеся губы, взъерошенные волосы.

И левая ладонь, прижатая к груди, где пульсировала её метка.

Я отошёл от окна, пятясь, пока не упёрся спиной в стену. Сполз на пол, обхватил колени. В комнате тихо, только сердце стучит и ветер воет за окном.

Она приходила. Она нашла меня. Она стоит там, в темноте за светом фонаря. И ждёт.

Чего она ждёт? Когда я выйду? Когда открою окно? Когда впущу её?

Я не знал. Знал только одно: этот поцелуй на моей ладони — не случайность. Это начало чего-то, что я пока не понимал, но уже боялся. За окном зажётся свет в чужом окне. Жёлтый квадрат упал на асфальт, осветил пустое место под фонарём. Никого. Но я знал: она там. Всегда будет там. Стоять и смотреть. Ждать.

Я закрыл глаза и слушал пульсацию в левой ладони. Тук-тук. Тук-тук. Чужое сердцебиение под моей кожей.

Она пришла за мной. И это свидание я пропустить не смогу...

История №2. Дар пустоты



Навигатор сказал «вы прибыли в пункт назначения», но пункт назначения больше напоминал декорации к фильму про зомби-апокалипсис. Ворота пионерлагеря «Салют» были заварены ржавым швеллером, а в дыру в заборе, про которую читали на форуме «заброшки-маньяки», не пролезал даже Стас, хотя он ради таких вылазок вечно жрал только гречку с кефиром и был плоский, как фанера.

— Гениально, — Лера пнула колесо Денисовой «Шкоды». — Два часа по Калужскому шоссе, и всё ради того, чтобы понюхать крапиву у забора. Чувствую себя героиней передачи «Ревизорро», только без камеры и без надежды на горячий обед.

Денис, как всегда, делал вид, что всё идёт по плану. Он вообще был из тех мужей, которые скорее умрут в лесу с компасом вверх ногами, чем признаются, что заблудились.

— Срежем через овраг, — сказал он бодро, тыкая пальцем в экран смартфона. — Тут километра полтора лесом, и выйдем прямо к трассе. Заодно ноги разомнём.

— Я свои ноги на каблуках разминать не нанималась, — отозвалась я, глядя на свои белые кроссовки, которые после этой поездки явно просились на помойку. Воскресенье, блин. Единственный выходной. И вместо того чтобы валяться в кровати с Кириллом и смотреть тупые ролики на ютубе, я штурмую калужские буераки.

Стас хохотнул и хлопнул меня по плечу своей лапищей:

— Не ссы, Сотникова. Приключения — это лучшее лекарство от скуки. И вообще, ты же менеджер по продажам, должна любить непроходимые места и возражения клиентов.

Овраг начинался внезапно. Сначала просто редкий березняк с папоротником по пояс, а потом земля резко ушла вниз, и мы скатились по глинистому склону, цепляясь за какие-то корявые стволы. Пахло сыростью, прелой прошлогодней листвой и почему-то чуть-чуть гарью, хотя костров поблизости не было. Солнце, которое наверху пекло макушки, здесь, внизу, едва пробивалось сквозь густые кроны, и сразу стало сумрачно и прохладно, как в подвале.

— Слышь, Денис, — Лера с треском выдирала репейник из своих джинсов, — ты уверен, что это тропа? По-моему, тут только ежи с комарами живут.

— Да сто пудов! — отозвался Денис где-то впереди. — О, гляньте, тут вообще цивилизация!

Мы продрались сквозь кусты орешника и вышли на небольшую прогалину. Посередине, как кривой зуб, торчал холмик. Не просто бугор земли, а явно рукотворный, обложенный по кругу замшелыми камнями. А над ним возвышался покосившийся деревянный крест. Доски посерели от времени и дождей, одна перекладина грозилась вот-вот отвалиться. У подножия лежала горстка засохших полевых цветов, превратившихся в труху.

Но самое интересное было на кресте. На перекладине висел чёрный платок. Не какая-то грязная тряпка, а довольно добротный, плотный шёлк или что-то вроде того, с длинной бахромой. По краю серебрилась вышивка — мелкие, витиеватые буквы, похожие на церковнославянскую вязь. Ветра в овраге почти не было, но платок чуть заметно колыхался, будто дышал.

— Ни хрена себе экспонат, — присвистнул Стас. — Прямо из музея «Булгаковский дом». Могилка неизвестного сталкера?

Я подошла ближе. Честно говоря, мне стало немного не по себе. Не от мистики, а от ощущения, что мы вторглись в чьё-то очень личное пространство. Кто-то же сюда приходил, цветы носил, платок этот на крест повязал. Может, бабка какая из соседней деревни по мужу убивается.

Стас тем временем, недолго думая, сдёрнул платок с креста. Послышался тихий треск старой древесины.

— Стас, положи, — поморщилась Лера. — Фу, он, наверное, пыльный и в пауках.

— Да ладно тебе, чистый, — он встряхнул платок в воздухе, и по поляне поплыл слабый, почти неуловимый запах. Не тлена, а чего-то сухого, пряного и сладковатого. Ладан? Нафталин? У бабушки в шкафу так пахло старыми пальто, которые она перекладывала от моли.

Стас повернулся ко мне, и его глаза озорно блеснули.

— Анют, иди сюда. Тебе чёрный к лицу.

— Отвали, — я отмахнулась, но он уже шагнул ко мне и, пока я пискнула от неожиданности, накинул мне платок на голову, аккуратно прикрыв лоб и волосы. Ткань оказалась на удивление мягкой и тёплой, даже слишком тёплой для вещи, висевшей в сыром овраге.

— Во! — загоготал Стас. — Мать Фотиния! Монашка-расстрига! Стой, не дёргайся, дай сфоткать, это ж хит будет.

Лера прыснула. Даже Денис оторвался от навигатора и заулыбался.

— И правда, Нют, тебе идёт. Такое скорбное, но благородное лицо. Как у княжны Таракановой на картине.

Я хотела разозлиться, но вместо этого сама засмеялась. Дурацкая ситуация. Стою в калужском овраге, как идиотка, в чёрном вдовьем платке с непонятными буквами, а друзья ржут.

— Ладно, снимайте своё кино, режиссёры, — я театрально сложила руки на груди, опустила уголки губ и уставилась в одну точку, изображая вселенскую печаль.

Лера навела на меня свой айфон. Вспышка резанула по глазам.

— Шикарно! Ещё один, с улыбкой!

Я приподняла уголки губ, но улыбка вышла какой-то кривоватой. Платок вдруг показался невыносимо душным и колючим, хотя секунду назад был мягким. Мне захотелось его сорвать.

— Всё, хватит с меня, — я стянула платок с головы, чувствуя, как волосы наэлектризовались и прилипли к щекам. — Верните экспонат на место, а то привидение местного попа будет нам являться по ночам и требовать сатисфакции.

Стас забрал у меня платок, небрежно скомкал и швырнул обратно на крест. Ткань повисла криво, закрыв собой выцветшие буквы.

— Не привидение, а схимница какая-нибудь, — авторитетно заявил он. — Я видос смотрел, это монашеский плат такой. Типа, они в нём умирают.

— Тем более, положи красиво, — я поправила платок, чтобы он висел ровно. Мелькнула мысль: «Надо бы перекреститься, что ли». Но я не перекрестилась. Подумала, что это глупо. Я вообще в Бога не верила, а уж тем более в святость каких-то тряпок в лесу. Обычная деревенская экзотика.

— Пошлите уже, а то скоро стемнеет, — поторопила Лера. — У меня ещё курица в духовке маринуется. Денис, ты уверен, что твоя тропа войны выведет нас к людям?

Денис к этому моменту уже исчез за деревьями, и его голос донёсся откуда-то снизу:

— Да тут ручей! Перепрыгиваем и выходим на пригорок!

Мы гуськом двинулись за ним. Я обернулась на прощание. Крест стоял сиротливо, чёрный платок на фоне серых стволов почти сливался с тенями. У меня по спине пробежал холодок, но я списала это на то, что промочила кроссовки в ручье.

Через двадцать минут мы действительно вышли к трассе. Через три часа стояли в вечной воскресной пробке на въезде в Москву и грызли чипсы со вкусом краба. Лера выложила в наш общий чат ту самую фотку, где я в платке, и подписала: «Новоафонская сирота 2024». Стас накидал стикеров с чёртиками. Кирилл в ответ прислал смайлик с закатанными глазами.

В понедельник я уже забыла и про овраг, и про платок. Жизнь понеслась дальше: звонки клиентам, сводки в экселе, вечерние пробки до дома. Фотка так и осталась висеть в галерее телефона, затерявшись между скриншотом рецепта пасты и селфи в лифте.

Ничего не произошло. Совсем ничего.

Понедельник начался с того, что Лера не ответила на мой утренний стикер с котиком. Раньше она всегда отвечала. Даже если была в душе или на совещании. Потому что у нас был такой ритуал: я просыпалась первая, отправляла ей какую-нибудь глупость, она через пять минут присылала в ответ смайлик с сердечком. А тут — тишина. До обеда. До вечера. Я даже проверила, не заблокировала ли она меня случайно.

— Алло, Лер, ты там живая вообще? — набрала я после работы, стоя в пробке на Садовом.

— Ой, Нют, привет, прости, — голос у неё был замученный и далёкий, как из параллельной вселенной. — Сёмка с температурой тридцать восемь и пять, соплю ручьём, я всю ночь не спала. Сейчас пытаюсь записаться к врачу, в поликлинике коллапс, одни бабки с ковидом.

— Может, помочь чем? Лекарства купить?

— Да не, Денис уже всё привёз. Спасибо. Слушай, давай я тебе на неделе наберу, когда этот кошмар закончится?

Она набрала через четыре дня. Сказала, что у Сёмки отит, что она сама на грани нервного срыва, и что наша традиционная пятничная посиделка в «Хинкальной» отменяется. Потом ещё через три дня написала: «Прости, я вообще никакая, давай на следующей неделе?»

Следующая неделя не наступила. Ни через одну, ни через две.

Денис, как выяснилось, вообще пропал с радаров. У него на работе горел какой-то проект, он ночевал в офисе и даже Лере отвечал односложными «ок» и «ага». Я попыталась написать ему в телеграм с дурацким вопросом про какую-то стройку, но он прочитал и не ответил. Потом, через сутки, скинул ссылку на статью и подпись: «Сама разбирайся, я щас вообще не в ресурсе».

Стас укатил в Сочи. Внезапно. Просто однажды утром я открыла его профиль, а там он стоит в шортах на фоне пальм и моря с подписью «Решил перезимовать у тёплого моря, надоела эта Москва». Я поставила лайк, он даже не ответил в директ. Я написала: «Ого, ты надолго?» Он ответил через день: «На месяц, наверное. Тут кайф».

И вот так, незаметно, по кусочкам, всё моё общение скатилось в пустоту. Раньше мы каждый день что-то писали в общий чат — фотки еды, мемы, планы на выходные. А теперь чат висел мёртвым грузом, последним сообщением было то самое, с фоткой меня в чёрном платке.

Я осталась одна.

Кирилл вёл себя как обычно. То есть никак. Мы встречались три раза в неделю, обычно у него, потому что у меня была маленькая однушка с вечно орущими соседями за стенкой, а у него — просторная двушка в сталинке, доставшаяся от бабушки. Я приезжала к нему после работы, мы заказывали пиццу или суши, смотрели сериалы, занимались сексом. Всё было ровно, привычно, как старая растянутая футболка, которую жалко выбросить, но и носить уже некомфортно.

В тот день я решила сделать сюрприз. У меня отменилась встреча с клиентом, я заехала в «Азбуку вкуса», купила бутылку просекко, каких-то дорогущих сыров и виноград. Ключи от его квартиры у меня были — он сам дал полгода назад, чтобы я могла заходить, если его нет. Я даже не стала звонить в дверь, открыла своим ключом и вошла в прихожую, улыбаясь как дура.

В нос ударил запах.

Сначала я даже не поняла, что не так. Пахло чем-то сладким, цветочным, приторным. Не его парфюмом — Кирилл пользовался чем-то спортивным и свежим. И не моим — у меня были лёгкие цитрусовые. Этот запах был густым, тяжёлым, он висел в коридоре как плотное облако. «Может, освежитель воздуха», — мелькнула мысль.

Я прошла на кухню. На столе стояли две кружки из-под кофе. На одной — след от яркорозовой помады. Я не крашу губы розовым. Я вообще почти не крашу губы.

В ванной на полочке, рядом с его зубной щёткой, лежала чужая резинка для волос — чёрная, с маленьким золотым шариком. Я такие не ношу. И женский гель для душа с запахом клубники. Мой стоял на другой полке, но его явно отодвинули, чтобы поставить этот.

Меня начало потряхивать. Я вышла в коридор и увидела то, чего не заметила сразу: на вешалке висел лёгкий бежевый тренч, явно женский, размера сорок второго. У меня сорок шестой.

Кирилл вышел из спальни. Он был в домашних штанах и футболке. Увидел меня, и его лицо не выразило ни страха, ни удивления. Только лёгкую досаду, будто я помешала ему досматривать важный матч.

— О, привет. Ты чего без звонка?

— Кто? — мой голос прозвучал глухо, как из бочки. — Кирилл, кто это?

Он вздохнул и прошёл на кухню, включил чайник.

— Кофе будешь?

— Я спросила: кто?

— Маша, — сказал он спокойно, насыпая растворимый в кружку. — Маша Кротова. Ты её знаешь.

Я её знала. Маша Кротова была нашей общей знакомой, мы пересекались на каких-то днях рождения и вечеринках. Тихая, незаметная, с вечно виноватой улыбкой. Работала бухгалтером. Я никогда не воспринимала её как угрозу. Даже не замечала.

— Давно? — спросила я, чувствуя, как внутри всё леденеет.

— Месяца два. Может, чуть больше.

— Два месяца? — я оперлась о столешницу, потому что ноги вдруг стали ватными. — Ты два месяца спишь с Машей Кротовой, а я приезжаю к тебе как к себе домой, готовлю тебе ужины, сплю в твоей постели... в нашей постели...

— Слушай, Нют, — он повернулся ко мне, и в его глазах я не увидела ни капли раскаяния. Только усталость. — Ты же сама всё чувствовала. У нас уже полгода ничего нет. Не в смысле секса, а в смысле... жизни. Ты вечно напряжённая, дёрганая. С тобой невозможно просто расслабиться. Ты приходишь, и воздух сгущается. А Маша... она лёгкая. С ней просто хорошо.

— Лёгкая, — повторила я как эхо. — А я, значит, тяжёлая.

— Ну ты же сама понимаешь. Ты всё время чего-то ждёшь, подозреваешь, ищешь подвох. Даже когда его нет. У нас с тобой не отношения, а какой-то вечный экзамен.

Я стояла и смотрела на него. На его спокойное лицо, на кружку с кофе в руке, на этот идеальный порядок на кухне, который я всегда поддерживала, приезжая к нему. И вдруг поняла: он уже всё решил. Давно. И моего мнения даже не спрашивает.

— Ты уходишь к ней?

— Да. Она переезжает сюда на следующей неделе. Свою квартиру сдаёт.

— А мои ключи? — я вытащила связку из кармана.

— Оставь на тумбочке.

Я положила ключи на тумбочку в прихожей. Рядом с ними стояла маленькая фарфоровая собачка, которую я подарила ему на прошлый Новый год. Я взяла её и сунула в сумку. Он заметил, но ничего не сказал.

Выходя, я обернулась:

— Ты мог бы просто сказать. Без этих двух месяцев лжи.

— Я не хотел тебя травмировать, — ответил он, и это прозвучало как самое отвратительное оправдание на свете.

Я вышла на лестничную клетку, и дверь за мной закрылась с мягким щелчком. В лифте я прислонилась лбом к холодному зеркалу и не плакала. Просто дышала. В голове крутилась одна мысль: «Лёгкая. Ей легко. А со мной тяжело».

Я написала Лере в вотсап: «Кирилл изменил. Ушёл к Маше Кротовой». Лера ответила через сорок минут: «Офигеть. Кошмар. Держись, Нют. Я щас не могу говорить, у Сёмки опять температура. Обнимаю».

Написала ещё одной подруге, Кате. Та прислала смайлик с объятиями и текст: «Нют, сочувствую, но ты же сама говорила, что он козёл. Может, оно и к лучшему? Давай как-нибудь встретимся, когда у меня разгребётся».

«Когда разгребётся» — это, видимо, никогда.

Третьей написала бывшей коллеге Олесе. Она ответила голосовым на десять секунд: «Слушай, ну мужики — они такие мужики. Не парься, найдёшь лучше. У меня тут своя драма, муж опять без работы, давай спишемся позже».

Я осталась одна в пустой квартире. С кошкой, которая тёрлась о ноги и просила есть. С бутылкой просекко, которую я купила для романтического вечера. С запахом чужих духов, который, казалось, вьелся в мою одежду.

На следующий день я опоздала на работу на сорок минут. Просто не смогла встать с кровати. Лежала и смотрела в потолок, на трещину в углу, похожую на карту Австралии. Потом всё-таки встала, натянула первое попавшееся платье, даже не погладила, и поехала в офис.

Борис Ефимович уже стоял у моего стола и демонстративно смотрел на часы.

— Анна, вы в курсе, что у нас совещание началось в десять? Клиент ждёт коммерческое предложение, а у вас даже таблица не готова.

— Простите, Борис Ефимович, я... у меня личные обстоятельства.

— У всех личные обстоятельства, — отрезал он. — У Петровой дочь родила, у Сидорова ипотека, у меня давление скачет. Но мы работаем. А вы уже вторую неделю витаєте в облаках. Вчера отправили счёт с ошибкой в сумме, позавчера забыли внести правки в договор. Что с вами?

— Я разберусь.

— Разберитесь, — он поправил очки и ушёл, оставив после себя запах дешёвого табака и раздражения.

Я села за компьютер и уставилась в экран. Буквы расплывались. Цифры путались. Я пыталась составить предложение, но мысли разбегались. Вместо цифр я видела лицо Кирилла, спокойно насыпающего кофе. Вместо названий товаров — розовую помаду на кружке.

На следующий день я перепутала файлы и отправила клиенту старую версию договора с неактуальными ценами. Клиент позвонил Борису Ефимовичу и устроил скандал. Меня вызвали в кабинет.

— Анна, — начал он, и я заметила, что он не предлагает мне сесть, — я вас предупредил. Вы ценный сотрудник, но в таком состоянии вы не просто бесполезны, вы вредны. Либо вы берёте себя в руки, либо пишете заявление по собственному. Я даю вам два дня подумать.

Я думала не два дня. Я думала одну минуту. Прямо там, в его кабинете, под тиканье настенных часов и шум кондиционера.

— Я напишу сейчас, — сказала я.

Он поджал губы и подвинул мне лист бумаги.

Я написала заявление ровным почерком, стараясь не смотреть по сторонам. Потом собрала вещи со стола: кружку с котятками, кактус, который мне подарила Лера на восьмое марта, упаковку влажных салфеток. Сложила в пакет. Никто из коллег не подошёл попрощаться. Кто-то сделал вид, что занят, кто-то просто не заметил. Я вышла из офиса в последний раз и вдохнула сырой октябрьский воздух.

Дома я села на диван и не вставала два дня. Ела хлеб с маслом, пила чай, смотрела в стену. Кошка ходила вокруг и мяукала, я механически насыпала ей корм. Телефон молчал. Лера не писала. Стас выкладывал сториз с пляжа. Кирилл, наверное, уже обжился с Машей

Кротовой в своей сталинке. Бабушка была далеко, в Подмосковье, я не хотела её беспокоить своими проблемами.

На третий день я заставила себя выйти на улицу. Просто чтобы не сойти с ума в четырёх стенах. Поехала в центр, бесцельно бродила по Тверской, потом спустилась в метро. Люди вокруг спешили, толкались, куда-то ехали. У них были дела, планы, жизнь. А у меня — ничего.

В вагоне какая-то тётка с огромной клетчатой сумкой наехала мне на ногу тележкой. Было больно, я вскрикнула и отшатнулась.

— Смотреть надо, куда прёшь! — рявкнула она вместо извинений и отвернулась.

Я смотрела на её красное, злое лицо, и вдруг что-то внутри меня оборвалось. Не от боли в ноге. От несправедливости. От того, что весь мир как будто сговорился и решил меня добить. Сначала друзья, потом Кирилл, потом работа, теперь даже случайные прохожие.

Я вышла на ближайшей станции. Не помню, как называется. Какая-то набережная, серое небо, серый асфальт, серая вода внизу. Я пошла к мосту. Не было никакого плана, никакого «сейчас я это сделаю». Было только желание, чтобы всё это закончилось. Чтобы выключили звук. Чтобы не чувствовать эту тупую, ноющую боль в груди, которая не проходила уже несколько недель.

Я остановилась у перил и посмотрела вниз. Вода была тёмной, маслянистой, с редкими бликами от фонарей. Где-то далеко гудели машины, кричали чайки, стучали колёса электрички. Но здесь, на мосту, было тихо. Почти мирно.

«Там хотя бы тихо», — подумала я и положила руки на холодный металл перил. Они были мокрыми от недавнего дождя. Капли стекали по ржавым болтам, как слёзы.

Я глубоко вдохнула и зажмурилась.

— Не советую, — раздался спокойный мужской голос совсем рядом. — Вода грязная. И холодная. Неэстетично получится.

Я вздрогнула и открыла глаза. В двух шагах от меня стоял мужчина в длинном чёрном пальто. Высокий, красивый, с тёмными волосами и странной, почти дружелюбной улыбкой. Он смотрел не на меня, а на воду, как будто мы вместе пришли полюбоваться пейзажем.

— Вы кто? — мой голос прозвучал хрипло.

— Можно сказать, прохожий. А можно — Вергилий. Выбирайте, что вам больше нравится.

Я смотрела на него и чувствовала, как сердце колотится где-то в горле. То ли от страха, то ли от того, что кто-то всё-таки заметил меня на этом чёртовом мосту.

Ветер на мосту пробирал до костей. Он задувал под воротник моего тонкого пуховика, трепал волосы, заставлял слезиться глаза. Или, может, глаза слезились не от ветра. Я не знала точно. Всё вокруг казалось нереальным, будто я смотрела кино про чью-то чужую жизнь и случайно застряла в кадре.

Мужчина в чёрном пальто стоял, опершись локтями о перила, и смотрел на тёмную воду. Он не торопился. Казалось, у него впереди целая вечность.

— Красиво здесь, — сказал он задумчиво, не поворачивая головы. — Москва-река в ноябре. Особый колорит. Промышленный романтизм с нотками бензина и разбитых надежд. Бродский бы оценил.

Я молчала, вцепившись пальцами в холодный металл перил. Сердце колотилось где-то в горле, дышать было трудно. Присутствие чужого человека одновременно раздражало и странным образом удерживало. Если бы он ушёл, я, наверное, снова осталась бы наедине со своими мыслями. А это было страшнее всего.

— Вы кто? — повторила я, и голос прозвучал сипло, как после долгой простуды. — Что вам нужно?

Он наконец повернулся ко мне. У него было странное лицо — красивое, но какое-то слишком правильное, будто нарисованное. Тёмные волосы падали на лоб небрежно, но в этой небрежности чувствовался расчёт. Глаза — не поймёшь какого цвета, то ли серые, то ли зеленоватые, менялись в зависимости от того, как падал свет фонаря. И улыбка. Спокойная, почти дружелюбная, но с каким-то скрытым знанием, будто он понимал про меня что-то, чего я сама о себе не знала.

— Меня зовут... — он сделал крошечную паузу, будто припоминая, — Вергилий. Можете считать это псевдонимом. Сценическим именем. Я провожатый. Потерянным душам помогаю ориентироваться на местности.

— Вергилий? — я нервно хохотнула. — Как у Данте? Типа, «Божественная комедия»? Вы меня в ад поведёте?

— Ну зачем же сразу в ад, — он мягко улыбнулся. — Просто спрошу, что случилось. Люди просто так на мостах не стоят в промозглый ноябрьский вечер. Особенно с таким выражением лица, как у вас. Как будто вы объявление о продаже души читали и нашли там мелкий шрифт.

Я хотела ответить что-то резкое, послать его куда подальше и уйти. Но вместо этого из меня вдруг полились слова. Без остановки, без цензуры, без попытки выглядеть лучше или умнее. Просто открылся какой-то кран внутри, и всё, что копилось неделями, хлынуло наружу.

— Всё случилось, — выпалила я, чувствуя, как дрожит голос. — Вся моя жизнь случилась. Вы даже не представляете. Это как... как будто меня кто-то проклял. По-настоящему. Мы ездили за город, нашли какой-то дурацкий крест в овраге с чёрным платком, Стас нацепил его на меня ради шутки, и с тех пор всё пошло под откос. Друзья исчезли, парень изменил с какой-то серой мышью, с работы уволили, бабушка далеко, и я сижу одна в пустой квартире с котом и понимаю, что никому не нужна. Вообще никому. Я даже не знаю, зачем вам это рассказываю. Вы, наверное, думаете, что я сумасшедшая.

Он слушал, не перебивая. Только чуть склонил голову набок, как внимательный врач на приёме. Когда я замолчала, он выдержал паузу — ровно столько, сколько нужно, чтобы мои слова повисли в воздухе и осели.

— Платок с молитвой, — произнёс он задумчиво. — Серебряное шитьё. Схимнический убор, если я правильно понимаю. Такие вещи просто так на крестах не висят. Вы взяли то, что вам не принадлежало. Примерили чужую судьбу. А такие примерки даром не проходят.

Я уставилась на него, пытаюсь понять, шутит он или говорит серьёзно. Лицо оставалось спокойным, даже участливым.

— Вы что, серьёзно? — я снова нервно хохотнула. — Вы хотите сказать, что из-за какой-то тряпки из оврага моя жизнь развалилась? Это бред. Так не бывает.

— А как бывает? — он пожал плечами. — Ваш парень ушёл к другой. Почему? Потому что вы стали мнительной, дёрганой, тяжёлой. А почему вы стали такой? Потому что друзья исчезли, и вы остались в одиночестве. А почему они исчезли? У них нашлись дела, заботы, причины. И всё это случилось ровно после того, как вы прикоснулись к вещи, которая несёт на себе груз чужой судьбы. Совпадение? Возможно. А возможно, и нет.

Я молчала, переваривая. В его словах была какая-то жуткая, искажённая логика. Та самая, которой так не хватало в моей развалившейся жизни.

— И что теперь? — спросила я тихо. — Если это проклятие, его можно снять? Пойти в церковь, поставить свечку, исповедаться?

— Можно, — он кивнул. — Но есть способ проще. Быстрее. И надёжнее.

Он сунул руку во внутренний карман пальто и достал сложенный лист бумаги. Плотная, почти картонная, кремового оттенка, с неровными, будто ручной работы краями. Он развернул его и показал мне. По листу вился текст, написанный вычурным витиеватым шрифтом —

буквицы с завитками, росчерки, вензеля. Я не могла разобрать ни слова, но буквы казались знакомыми, похожими на те, что были вышиты на чёрном платке.

— Что это? — я отшатнулась.

— Документ, — ответил он будничным тоном. — Контракт. Вы подписываете его своей кровью, и проклятие снимается. Взамен — суший пустяк. Формальность. Вы обязуетесь... скажем так, принять мою помощь в будущем, когда она понадобится. Один звонок. Одна услуга. Ничего сверхъестественного.

Я смотрела на лист, и в голове у меня зашумело. Кровью. Подписать кровью. Это звучало как сценарий третьесортного фильма ужасов, который показывают по кабельному каналу в три часа ночи.

— Вы издеваетесь? — я отступила на шаг, упёрлась спиной в перила. — Кровью? Контракт? Вы кто вообще такой? Дьявол из папье-маше? У вас рога под волосами, а хвост в брюки заправлен?

Он не обиделся. Даже бровью не повёл. Только улыбнулся чуть шире, и в этой улыбке промелькнуло что-то похожее на одобрение.

— Я же сказал: зовите меня Вергилием. А рога... — он провёл рукой по волосам, откидывая чёлку назад, — у меня их нет. По крайней мере, в этой комплектации. Послушайте, Анна. Вы умная девушка. Вы не верите в Бога, не верите в чёрта. Так какая вам разница, кто я? Если я сумасшедший — вам ничего не грозит, кроме забавной истории для будущих посиделок. Если же я говорю правду... что вы теряете?

Он обвёл рукой пространство вокруг нас: тёмную реку, серое небо, мокрый асфальт, редкие огни фар на набережной.

— Посмотрите на свою жизнь. Вы на дне. Ниже некуда. Работы нет, парня нет, друзей нет, даже случайная тётка в метро и та вас пнула. Бог, в которого вы не верите, вам не помогает. Ангелы-хранители, судя по всему, ушли на обеденный перерыв. А я предлагаю реальный выход. Один росчерк пера. Ну, не пера — иглы. Кровь — это просто чернила, Анна. Символ серьёзности намерений. Вроде печати у нотариуса.

Я слушала его, и где-то в глубине души мне становилось жутко. Не от его слов, а от того, что в них была правда. Мне действительно нечего было терять. Я действительно была на дне. И этот странный человек в чёрном пальто был единственным, кто говорил со мной по-человечески за последние недели. Единственным, кому было не плевать.

Но инстинкт самосохранения — или что там от него осталось — взбрыкнул в последний раз.

— Это бред, — сказала я твёрдо, качая головой. — Вы сумасшедший. Или мошенник. Или и то, и другое. Я не буду ничего подписывать. Убирайтесь.

Он вздохнул — не разочарованно, а скорее понимающе. Как учитель, который видит, что ученица не готова к сложному материалу, но знает, что она ещё вернётся.

— Что ж, ваше право, — он положил лист на широкое бетонное ограждение моста, придавив сверху маленьким камешком, чтобы не унесло ветром. — Я оставлю это здесь. Прочитаете на досуге. Или не прочитаете. Как знаете.

Он застегнул пальто, поправил воротник и посмотрел на меня долгим, спокойным взглядом.

— Только одно, Анна. Когда — не если, а когда — вы решите, что я был прав, не звоните по старым номерам. У меня их нет. Просто возьмите контракт. Он сам вас найдёт, если понадобится.

Он развернулся и пошёл прочь по мосту, в сторону тусклых фонарей и редких машин. Его шаги были почти беззвучными на мокром асфальте. Чёрное пальто сливалось с сумерками, и через несколько секунд я уже не могла сказать, где заканчивается его фигура и начинается тень.

Я осталась одна. Ветер трепал мои волосы, пробирал до дрожи. На бетонном ограждении лежал лист бумаги, и камешек на нём подрагивал от порывов.

Я не помню, сколько простояла так. Минуту? Пять? Десять? Мысли метались в голове как испуганные птицы. «Уйти. Просто уйти. Забыть. Это розыгрыш. Это бред. Это...»

А потом я вдруг рванулась вперёд, схватила лист с ограждения, смяла его в кулаке и, не глядя по сторонам, побежала. Сама не знаю куда. Просто прочь с этого моста. Каблуки сапог стучали по асфальту, дыхание сбивалось, в боку кололо. Я бежала, сжимая в руке плотную бумагу, чувствуя, как её края врезаются в ладонь.

В метро я забила в угол вагона, стараясь ни на кого не смотреть. Люди вокруг читали что-то в телефонах, дремали, слушали музыку в наушниках. Обычные люди с обычной жизнью. А я сидела, вцепившись в сумку, в которой лежал смятый контракт от человека, назвавшегося именем проводника в ад.

Дома я заперла дверь на все замки, проверила окна, задёрнула шторы. Кошка вышла в коридор, потянулась и вопросительно мяукнула. Я не обратила на неё внимания. Прошла на кухню, бросила смятый лист на стол и устала на него.

Бумага была странной. Слишком плотная, слишком гладкая, с едва заметным перламутровым отливом, который проступал, если смотреть под углом. Буквы вились по листу как змеи, сплетаясь в узоры, которые хотелось разглядывать и от которых одновременно становилось не по себе. Я не понимала языка — это была не кириллица и не латиница, а что-то древнее, неизвестное. Но внизу, в уголке, мелким, но чётким шрифтом было напечатано по-русски: «Поставить подпись кровью в присутствии Предъявителя».

Я сидела и смотрела на этот лист до тех пор, пока за окном не начал сереть рассвет.

Бабушка жила в Подмосковье, в маленьком городке, который все называли не иначе как «дыра». На самом деле это был обычный советский военный городок, переживший расцвет в восьмидесятые и тихо умиравший с тех пор. Пятиэтажки из серого кирпича, ржавые качели во дворе, старый гастроном с вечно пьяным грузчиком у входа. Но бабушкина квартира была островком уюта в этом море уныния: вышитые салфетки на телевизоре, герань на подоконнике, запах пирожков с капустой и «Красной Москвы» — духов, которыми она пользовалась последние сорок лет и которые я с детства ассоциировала с абсолютной защищённостью.

Я не стала звонить заранее. Просто села в электричку с Курского вокзала и через полтора часа уже стояла у знакомой обшарпанной двери, обитой дерматином. Кнопка звонка западала, пришлось нажать дважды. За дверью послышались шаркающие шаги, щёлкнул замок, и на пороге появилась Лидия Петровна.

— Анютка? — она прищурилась, поправляя очки. — Ты чего без звонка? Случилось что?

— Случилось, ба, — выдохнула я и вдруг, сама того не ожидая, разревелась прямо на пороге, уткнувшись в её тёплое плечо, пахнущее пирожками и старостью.

Бабушка ничего не стала спрашивать. Просто обняла меня сухими, но сильными руками и завела в квартиру, приговаривая: «Тихо, тихо, разберёмся. Иди руки мой, я чай поставлю».

Через пятнадцать минут мы сидели на кухне. Передо мной дымилась кружка с чаем, в вазочке лежали бабушкины фирменные коржики, которые она пекла по рецепту, выученному ещё в техникуме общепита в пятьдесят каком-то году. Я рассказывала. Всё подряд, сбивчиво, начиная с дурацкой поездки в пионерлагерь и заканчивая вчерашней встречей на мосту. Бабушка слушала молча, не перебивая. Только ложка в её стакане с чаем позвякивала ритмично, как метроном.

Когда я закончила и замолчала, глядя на остывший чай, она долго сидела неподвижно. Потом сняла очки, протёрла их краем фартука и водрузила обратно на нос.

— Покажи, — сказала она негромко.

Я достала из сумки смятый лист плотной бумаги и протянула ей. Бабушка взяла его осторожно, двумя пальцами, будто боялась обжечься. Поднесла к глазам, повертела, всматриваясь в витиеватые буквы. Её лицо, обычно доброе и немного рассеянное, вдруг стало жёстким и собранным. Таким я видела его только однажды — когда хоронили деда.

— Господи Иисусе, — прошептала она и положила лист на стол, придавив солонкой, будто опасаясь, что он улетит. — Это ж... Нюта, ты понимаешь, что это такое?

— Контракт какой-то, — пробормотала я. — Псих в пальто дал. Я не подписывала, ба, честно.

— И слава Богу, что не подписывала, — она перекрестилась мелкими, быстрыми движениями. — Это, внучка, не просто бумажка. Это подступ. Он тебя не проклял, он тебя запугал. Загнал в угол и подsunул договор. Старая песня, старая как мир.

Я смотрела на неё, чувствуя, как внутри всё холодеет.

— Баб, ты правда веришь, что это... что он...

— А кто ж ещё, — отрезала она. — Ты сама-то как думаешь? Человек на мосту, в ноябре, с контрактом, который кровью подписывать надо. И имя выбрал — Вергилий. Это ж надо додуматься. Проводник в ад. Красиво живёт, ничего не скажешь.

Она встала, подошла к старому серванту, где за стеклом стояли фотографии родных и пара иконок, и вытащила оттуда маленькую жестяную коробочку из-под леденцов. Открыла её — внутри лежали деньги. Сложенные аккуратно, купюра к купюре, перетянутые аптечной резинкой.

— Это моя заначка, — сказала она просто. — На чёрный день. Я думала, он наступит, когда трубы потекут или когда мне операцию какую делать придётся. А он, видишь, какой оказался.

— Ба, ты чего? — я замотала головой. — Не надо, это твои деньги. Мы что-нибудь придумаем, может, в церковь сходим...

— В церковь, — повторила она с усмешкой. — Ты, Нюта, в Бога-то не веришь, а в церковь идти собралась. Нет, тут попроще надо. Тут человек нужен, который в этих делах понимает. Старец один есть, Варсонофий. Под Псковом, в скиту живёт. Я про него давно слышала, ещё от матушки Антонины, Царствие ей Небесное. Говорят, видит он то, что другим не видно. И беса от человека отличить может. К нему поедем.

— Под Псков? — я представила себе расстояние. — Ба, это ж далеко. И ты... ты не молодая уже, сердце у тебя...

— А что сердце? — она выпрямилась, став вдруг выше ростом. — Сердце у меня для тебя болит, а не для себя. Если ты думаешь, что я буду сидеть тут и смотреть, как моя внучка с нечистым контракты подписывает, то ты меня плохо знаешь, Анна Сергеевна. Собирайся. Вещей много не бери, там не гостиница.

Я хотела возразить, но поняла, что спорить бесполезно. Когда бабушка принимала решение, она становилась похожа на маленький танк — несокрушимый и упрямый.

Мы выехали на следующее утро. Сначала электричка до Москвы, потом пересадка на Ленинградский вокзал, потом шесть часов в плацкарте до Пскова. Вагон был старый, с жёлтыми занавесками и запахом жжёной проводницкой еды. За окном проплывали серые подмосковные дачи, потом леса, потом болота, потом снова леса. Я сидела у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрела на этот бесконечный, унылый пейзаж.

Мысли крутились по кругу, как заезженная пластинка.

«А вдруг бабушка права, и это всё на самом деле? Вдруг тот человек — не просто псих, а действительно... кто-то? Тогда выходит, что я влипла по-настоящему. Не в бытовую неудачу, а во что-то, что выходит за рамки обычного понимания. Вдруг проклятие всё-таки существует, и платок тот был не просто тряпкой?»

Я вспоминала лицо Вергилия. Его спокойную улыбку, то, как легко он говорил о крови, будто о чернилах. И то, как он смотрел на меня — без злобы, без жадности, почти с сочувствием. От этого становилось ещё страшнее.

«А если это всё бред, и мы сейчас едем чёрт знает куда, тратим бабушкины последние деньги на какого-то старца, который, может, просто выживший из ума дед? Я втянула бабушку в свою истерику. Она старая, больная, ей бы дома сидеть, а она трясётся в плацкарте из-за моей мнительности».

Я украдкой посмотрела на бабушку. Она дремала на нижней полке, прикрыв глаза, но губы её чуть заметно шевелились. Молилась, наверное. Или просто разговаривала сама с собой. В руке она сжимала маленькую иконку, которую всегда брала в дорогу. Лицо у неё было спокойное, даже умиротворённое. Казалось, она не сомневалась ни секунды.

«Господи, — подумала я вдруг, сама не зная, к кому обращаюсь, — если ты есть, если ты правда есть... сделай так, чтобы бабушка не зря эти деньги потратила. Сделай так, чтобы всё это оказалось просто глупой ошибкой. Или... или дай мне знак, что я не сошла с ума».

Ответа не было. Только стук колёс и далёкий гудок электрички где-то впереди.

В Пскове мы пересели на местный автобус, который шёл до какого-то райцентра, а оттуда ещё час тряслись в попутной «Газели» с мужиками, которые везли мешки с картошкой. Водитель, краснолицый дядька в засаленной кепке, всю дорогу травил анекдоты про политику, не обращая на нас внимания. Бабушка молчала, я тоже.

Скит оказался не там, где кончалась дорога, а гораздо дальше. «Газель» высадила нас у покосившегося указателя с надписью «Свято-Успенский скит — 3 км». Дальше нужно было идти пешком через лес. Тропинка вилась между сосен, усыпанная рыжей хвоей. Воздух был чистый, прозрачный, пах смолой и прелыми листьями. Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Только дятел где-то вдалеке долбил дерево, да ветки похрустывали под ногами.

Я шла и думала о том, как странно устроена жизнь. Ещё неделю назад я сидела в московском офисе, пила кофе из автомата и ругалась с клиентами по телефону. А теперь иду по лесу в псковской глуши к какому-то старцу, которого никогда не видела, потому что встретила на мосту человека, назвавшегося Вергилием.

«Если это всё окажется правдой, — мелькнула мысль, — то я больше никогда не смогу жить как раньше. Если есть тот, кто приходит на мосты и предлагает контракты, значит, есть и Тот, кто может его остановить. А я в Него не верила. Совсем. Даже в церковь не ходила, только на Пасху куличи ела. Что я теперь скажу этому старцу? "Здрасьте, я Анна, меня, кажется, дьявол вербует, помогите"?»

Я чуть не рассмеялась в голос от абсурдности происходящего. Но смех застрял в горле.

Лес кончился внезапно. Мы вышли на опушку и увидели скит. Это было небольшое поселение: несколько деревянных домиков, обнесённых невысоким забором, маленькая церковь с облупившейся голубой краской на куполах и колокольня, похожая на скворечник. Вокруг — поле, уходящее к горизонту, и серое ноябрьское небо над головой. Пахло дымом из печной трубы и почему-то кислой капустой.

У ворот стоял молодой послушник в замызганном подряснике и резиновых сапогах. Увидев нас, он перекрестился и спросил:

— Вы к старцу?

— К нему, — ответила бабушка твёрдо. — Из Москвы мы. По делу срочному.

Послушник кивнул, будто москвичи по срочным делам приезжали сюда каждый день, и повёл нас внутрь. Я шла по скрипучему деревянному настилу и чувствовала, как сердце колотится где-то у горла. Впереди была встреча, которая, как я надеялась, всё изменит. Или не изменит ничего. Или изменит так, что я пожалею, что вообще сюда приехала.

Бабушка шагала рядом, прямая, как струна, и только сжимала мою руку своей сухой, тёплой ладонью.

— Не бойся, — шепнула она. — Бог не выдаст, свинья не съест. Разберёмся.

Послушник привёл нас к небольшому деревянному домику на краю скита, с покосившимся крыльцом и единственным окошком, затянутым мутной плёнкой вместо стекла. Из трубы вился жидкий дымок, пахло сырыми дровами и чем-то ещё — воском, ладаном, старостью.

— Ждите здесь, — сказал он и скрылся за дверью.

Мы стояли с бабушкой на ветру. Ноябрьский холод пробирался под куртку, я переминалась с ноги на ногу, пытаюсь согреться. Бабушка, напротив, стояла неподвижно, как изваяние, только губы чуть шевелились — молилась. Я смотрела на неё и думала о том, какая удивительная вещь — вера. Вот она стоит, старенькая, больная, посреди псковской глуши, и верит, что какой-то старец поможет её внучке, которую преследует сам дьявол. И эта вера придаёт ей сил больше, чем мне — все мои рациональные доводы.

Дверь скрипнула. Послушник выглянул и кивнул:

— Старец ждёт. Только вы, — он посмотрел на меня, — одна. Бабушка пусть в церкви помолится пока.

Я жала бабушкину руку. Она перекрестила меня, поцеловала в лоб и прошептала:

— Иди. Всё хорошо будет. Я тут рядом.

Внутри домика было темно и душно. Единственное окошко почти не пропускало света, горела только лампада в углу, перед потемневшей иконой, да свеча на грубо сколоченном столе. Пахло ладаном, старыми книгами и немного — кислой капустой, видимо, из соседней кельи. У стены стояла узкая железная кровать, застеленная серым одеялом, в углу — аналой с потрёпанным Евангелием.

А посреди всего этого, на простой деревянной табуретке, сидел старец Варсонофий.

Он оказался совсем не таким, как я ожидала. Я-то думала увидеть что-то вроде библейского пророка: с длинной седой бородой, в развевающихся одеждах, с грозным взглядом и посохом в руке. А передо мной сидел маленький, сухонький старичок в застиранном подряснике и стоптанных валенках. Лицо у него было всё в морщинах, как печёное яблоко, глаза слезились и казались красноватыми, как у кролика. Но взгляд... взгляд был неожиданно ясным и спокойным. Он смотрел на меня без всякого осуждения, без любопытства даже — просто смотрел, как смотрят на дождь за окном: принимая как данность.

— Садись, — сказал он негромко, указывая на второй табурет напротив. Голос у него был тихий, с лёгкой хрипотцой, но каждое слово звучало отчётливо. — Рассказывай.

Я села. Табуретка оказалась шаткой, пришлось упереться ногами в пол, чтобы не качаться. Я не знала, с чего начать. Все заготовленные слова вдруг вылетели из головы. Я просто сидела и смотрела на старца, а он смотрел на меня — и молчал. И в этом молчании было что-то такое, что слова вдруг полились сами собой.

Я рассказала всё. Снова. Про пионерлагерь и овраг, про чёрный платок с серебряными буквами, про то, как Стас накинул его мне на голову ради шутки. Про то, как потом всё посыпалось: друзья исчезли, Кирилл изменил, работа накрылась, одиночество сдавило горло. Про мост, про человека в чёрном пальто, назвавшегося Вергилием, про его спокойную улыбку и слова о том, что проклятие можно снять одним росчерком пера. Про контракт, который я смяла и увезла с собой, и который сейчас лежит у меня в сумке.

Старец слушал, не перебивая. Только иногда чуть кивал, будто подтверждая что-то, известное ему одному. Когда я закончила, он долго молчал, глядя куда-то поверх моего плеча, на огонёк лампады. Потом вздохнул и перевёл взгляд на меня.

— Платок тот, — сказал он медленно, — ты его с собой не взяла?

— Нет, — я покачала головой. — Оставила там, на кресте. Зачем он мне?

— И правильно, — он кивнул. — Потому что платок тот — всего лишь тряпка. Кусок чёрного шёлка с вышитыми буквами. Никакой силы в нём нет и никогда не было. Молитва на нём — это просьба человека к Богу, а не заклинание. А ты не схимница, чтобы её носить. Примерила чужое — и испугалась.

Я уставилась на него, не понимая.

— Подождите, — я нахмурилась. — Вы хотите сказать, что проклятия нет? Вообще? Но тогда почему всё это случилось? Почему именно после того дня?

Старец чуть улыбнулся — одними уголками губ, но глаза потеплели.

— А ты сама подумай, Анна. Вот скажи: твоя подруга Лера — она перестала с тобой общаться из-за платка?

— У неё ребёнок заболел...

— Правильно. А муж её, Денис — он пропал из-за платка?

— У него работа, проект горит...

— А Стас?

— Уехал в Сочи... — я осеклась, начиная понимать, к чему он клонит.

— А Кирилл? — продолжал старец. — Он изменил тебе потому, что ты прикоснулась к платку? Или потому, что он давно уже хотел уйти, да повода не было, а тут ты стала мнительной, дёрганой, и он просто использовал это как оправдание?

Я молчала. В горле встал ком.

— Работа, — старец не унимался. — Тебя уволили из-за сглаза? Или из-за того, что ты перестала справляться, потому что все твои мысли были заняты страхом и обидой?

— Но это всё совпало! — вырвалось у меня. — Всё началось после того дня! Разве так бывает?

— Бывает, — он кивнул. — Жизнь вообще штука такая: то пусто, то густо. Иногда всё валится разом, не потому что тебя прокляли, а потому что так сложилось. А ты, вместо того чтобы разбираться с каждой проблемой отдельно, поверила в красивую сказку про проклятие. И это, Анна, и есть его главное оружие.

— Чьё? — прошептала я, хотя уже знала ответ.

— Того, кто назвался Вергилием, — старец перекрестился, и я впервые увидела в его глазах что-то похожее на гнев — не на меня, а на того, о ком он говорил. — Это не просто бес, Анна. Это сам Люцифер. Отец лжи. Ему не нужен твой платок, ему не нужны твои грехи. Ему нужно только одно: чтобы ты поверила, что он сильнее. Что он имеет над тобой власть. Что без него ты не справишься.

Он замолчал, давая мне переварить. В домике стало совсем тихо, только свеча потрескивала да ветер шуршал за мутным окошком.

— Понимаешь? — продолжил он тихо. — Он не может заставить тебя подписать контракт. У него нет на это права. Он может только предложить. Искусить. Запугать. Внушить, что ты проклята, что всё пропало, что Бог тебя оставил. А когда ты в это веришь — ты уже в его руках, даже без подписи. Потому что страх и отчаяние — это дверь, через которую он входит.

— Но я же не верила... — пробормотала я. — Я не верила ни в Бога, ни в чёрта. Я вообще ни во что не верила.

— Вот именно, — старец грустно улыбнулся. — Ты ни во что не верила. А когда человек ни во что не верит, он верит во что угодно. В проклятия, в сглазы, в карму, в гороскопы, в контракты с дьяволом. Потому что пустота должна быть чем-то заполнена. Он это знает. Он пришёл к тебе не как демон с рогами — ты бы его послала. Он пришёл как элегантный мужчина в пальто, с умными разговорами, с предложением «помощи». И ты чуть не купилась. Потому что тебе было страшно и одиноко, а он оказался единственным, кто тебя «услышал».

Я сидела, глядя на свои руки, сложенные на коленях. В голове всё перемешалось. С одной стороны, слова старца звучали просто и понятно, как таблица умножения. С другой — где-то глубоко внутри ещё теплился страх: а вдруг он ошибается? Вдруг проклятие всё-таки есть?

— А контракт? — спросила я. — Зачем ему контракт, если он и так может мной манипулировать?

— Контракт, — старец усмехнулся, — это фиксация твоего согласия. Пока ты не подписала, ты ещё можешь передумать, можешь бороться, можешь обратиться к Богу. А подпишешь — и сама отдашь ему то, что он и так хочет получить: твою волю. Твою душу. Не в смысле «продажи», как в сказках, а в смысле добровольного отказа от свободы. Ты скажешь: «Я сама не справлюсь, делай со мной что хочешь». И он сделает.

Он наклонился вперёд и взял меня за руку. Ладонь у него была сухая, тёплая, шершавая от многолетней работы.

— Послушай меня, Анна, внимательно. У него нет над тобой власти. Никакой. Ты не проклята. Ты просто запуталась. Твои друзья не отвернулись — у них свои жизни. Твой парень ушёл не потому что бес попутал, а потому что он слабый человек. Работу ты потеряла, потому что перестала с ней справляться от горя. Это всё — обычная жизнь. Трудная, горькая, но обычная. А он пришёл и сказал: «Это проклятие, давай я помогу». И ты поверила, потому что так проще, чем признать, что жизнь иногда просто бьёт, и с этим надо жить.

Я почувствовала, как по щеке ползёт слеза. Я даже не заметила, когда начала плакать.

— И что мне теперь делать? — прошептала я.

— Жить, — просто ответил старец. — Просто жить. И молиться. Не заклинания читать, не экзорцизмы ждать. Просто говорить Богу: «Господи, помилуй». Даже если не веришь до конца. Даже если кажется, что не слышит. Он слышит. А ещё — перестань бояться. Страх — это его еда. Пока ты боишься, он рядом. Как только перестаёшь — он уходит, потому что ему с тобой неинтересно.

Он отпустил мою руку и встал. Подошёл к аналою, взял старенькую епитрахиль и накинул себе на плечи.

— Я поисповедую тебя сейчас, — сказал он. — Не потому что ты великая грешница, а потому что тебе нужно скинуть этот груз. Расскажи всё, что на душе. Не про платок, не про Вергилия. Про себя. Про то, что болит.

И я рассказала. Впервые за много лет — честно. Про то, как завидовала Лере, у которой есть семья. Про то, как боялась остаться одна и цеплялась за Кирилла, хотя давно понимала, что он чужой. Про то, как ненавидела свою работу, но держалась за неё, потому что страшно было что-то менять. Про то, как не верила в Бога, но в глубине души ждала чуда. Про страх смерти, про страх жизни, про ощущение пустоты внутри, которое всегда было со мной, сколько себя помню.

Старец слушал молча, иногда кивая. Когда я замолчала, он накрыл мою голову епитрахилью и прочитал разрешительную молитву. Голос его звучал тихо и монотонно, но каждое слово отдавалось где-то внутри, как будто кто-то развязывал тугие узлы, которые я носила в себе годами.

Потом он причастил меня. Достал из простого деревянного ковчежца маленькую частицу, поднёс к моим губам.

— Тело Христово приими, — прошептал он.

Я проглотила, и впервые за долгое время внутри что-то дрогнуло. Не мистический свет, не голос с небес. Просто вдруг стало легче дышать. Как будто с плеч сняли бетонную плиту, которую я таскала так долго, что уже привыкла к её тяжести и считала частью себя.

Я вышла из кельи на подкашивающихся ногах. На улице уже смеркалось, но небо над скитом вдруг показалось мне не серым и унылым, а каким-то глубоким, торжественным, как купол огромного храма. Воздух пах дымом, хвоей и чем-то ещё — чистотой, что ли.

Бабушка ждала меня у ворот, кутаясь в старенький платок. Увидев моё лицо, она ничего не спросила. Только перекрестила и обняла крепко-крепко.

— Ну что? — спросила она наконец, когда мы уже шли по лесной тропинке обратно к дороге.

— Он сказал, что проклятия нет, — ответила я, и голос мой звучал как-то по-новому, легче. — Сказал, что всё это — обычная жизнь, только я сама себе напридумывала страхов. А тот, с моста — он просто пользуется этим. Врёт. И пока я ему не поверю, он ничего не может.

Бабушка кивнула, будто ничего другого и не ожидала.

— А я тебе что говорила? Бог не выдаст. Поехали домой, внучка. Будем жить дальше.

Мы шли через лес, и впервые за долгое время я не чувствовала себя загнанной в угол. Не чувствовала себя жертвой обстоятельств или игрушкой тёмных сил. Просто человеком, у которого впереди куча проблем, но который почему-то верит, что справится.

Контракт всё ещё лежал в сумке. Но теперь он казался мне не страшным, а каким-то жалким. Просто бумажка с красивыми буквами. Завтра я её сожгу, подумала я. Или порву. Или просто выброшу. Она больше не имеет надо мной власти.

Я глубоко вдохнула холодный ноябрьский воздух и улыбнулась. Впервые за много недель.

Дорога домой заняла почти сутки. Мы с бабушкой ехали в плацкарте, пили чай из общего титана, жевали сушки и почти не разговаривали. Я смотрела в окно на проплывающие леса и полустанки, и внутри было странное, непривычное спокойствие. Не радость, не эйфория — до этого было далеко. Скорее, ощущение, что с меня сняли тяжёлый рюкзак, который я таскала так долго, что забыла, каково это — ходить с прямой спиной.

Бабушка дремала на нижней полке, укрывшись моей курткой. Лицо у неё было умиротворённое, как у ребёнка. Я смотрела на неё и думала о том, сколько же в ней сил. Пожилой человек, с большим сердцем, с кучей своих болячек, а сорвалась со мной за тридцать земель, потратила последние деньги, даже не задумываясь. Просто потому что я — её внучка, и ей не всё равно.

— Спасибо, ба, — прошептала я, хотя она не слышала.

Она приоткрыла один глаз и улыбнулась:

— Чего шепчешь? Спи давай. Завтра дома будем.

Дома мы оказались только к вечеру следующего дня. Квартира встретила нас привычным запахом — немного пыли, немного старой мебели, герань на подоконнике. Кошка, которую я оставляла с запасом корма и воды, встретила нас громким возмущённым мяуканьем и требованием немедленной ласки. Я взяла её на руки, зарылась лицом в тёплую шерсть и вдруг почувствовала, как по щекам текут слёзы — не горькие, а какие-то очищающие. Как будто я наконец-то дома. Не просто в квартире, а в своей жизни.

Бабушка хлопотала на кухне, грела суп, резала хлеб. Я смотрела на неё и думала: «Мы справились. Мы правда справились. Теперь всё будет по-другому».

Первая ночь прошла спокойно. Я спала как убитая, без снов, без кошмаров. Вторая — тоже. Я даже начала строить планы: найти новую работу, позвонить Лере и просто поговорить по-человечески, без претензий, без ожиданий. Может, сходить в церковь, как бабушка советовала. Не потому что «надо», а потому что вдруг захотелось.

На третью ночь я проснулась от резкой боли в животе.

Сначала подумала — отравление. Вчерашний бабушкин борщ? Нет, бабушка готовила всегда идеально, у неё всё было свежее. Может, нервное. Я повернулась на бок, поджала колени к груди, но боль не утихала — тупая, ноющая, скручивающая внутренности в тугой узел.

— Чёрт, — прошептала я и села на кровати.

Часы на телефоне показывали 03:17. За окном — глухая ноябрьская ночь, ни огонька, только ветер завывает в вентиляции. Я нашарила тапки и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить бабушку, пошла на кухню. В аптечке должны быть таблетки — но-шпа или что-то такое.

В коридоре было темно, но из кухни пробивалась узкая полоска света. Странно. Я точно выключала везде свет перед сном. Может, бабушка тоже не спит, чай пьёт? Сердце у неё иногда пошаливало, бывало, что она просыпалась среди ночи и сидела на кухне с кружкой тёплой воды.

Я толкнула дверь и замерла на пороге.

За кухонным столом, лицом ко мне, сидел Вергилий. Тот самый. Только теперь он был одет не в чёрное пальто, а в простой чёрный свитер крупной вязки с жёлто-оранжевой звездой Давида на груди и голубые джинсы. Выглядел он так, будто зашёл на огонёк к старой знакомой — расслабленно, по-домашнему. В одной руке он держал мою любимую кружку с котятками, из которой поднимался пар, в другой — маленькую серебряную ложечку, которой аккуратно размешивал чай.

Рядом с ним на столе стояла открытая аптечка и лежала упаковка таблеток.

— О, проснулась, — сказал он будничным тоном, даже не обернувшись на звук двери. — Нейродикловит. От спазмов. Я подвинул поближе, не благодари.

Я стояла, вцепившись в дверной косяк, и чувствовала, как боль в животе отступает на второй план, вытесненная ледяным, парализующим ужасом. Он был здесь. В моей квартире. Ночью. Пил чай из моей кружки.

— Как ты... — голос сорвался на шёпот. — Как ты сюда попал?

— Дверь была открыта, — он пожал плечами и сделал глоток. — В смысле, метафорически. Ты сама меня впустила, когда взяла контракт. Помнишь? Я же говорил: он сам тебя найдёт.

Я перевела взгляд на его свитер. Звезда Давида. Жёлто-оранжевая, на чёрном фоне. Что-то в этом было неправильное, сбивающее с толку. В прошлый раз он был в пальто, с иголки, как дорогой бизнесмен. А теперь — как хипстер из кофейни, случайно забредший не в тот двор.

— Что тебе нужно? — я постаралась, чтобы голос звучал твёрдо, но получилось жалко.

— Мне? — он удивлённо поднял брови. — Ничего особенного. Просто зашёл проведать. И заодно сообщить новость. Неприятную, увы.

Он поставил кружку на стол, и я заметила, что его пальцы оставляют на керамике едва заметный инеистый след. Он повернулся ко мне полностью, и я увидела его лицо — всё такое же красивое, спокойное, с лёгкой полуулыбкой. Только глаза теперь казались не серыми и не зелёными, а какими-то бесцветными, как вода в зимней реке.

— Твоя бабушка, — сказал он мягко, почти сочувственно. — Лидия Петровна. Чудесная женщина, между прочим. Редкая душа. Она умерла во сне. Сердце. Старое, знаешь ли, изношенное. Вы так далеко ездили, так надеялись, а оно возьми и остановись. Обидно.

В первую секунду я не поняла. Слова долетали до меня как сквозь вату. Бабушка. Умерла. Во сне. Сердце.

— Что ты несёшь? — выдохнула я. — Она спит в своей комнате. Я сама видела, как она ложилась. Она жива.

— Проверь, — он кивнул в сторону коридора. — Я подожду.

Я рванулась с места, даже не заметив, как подвернула ногу на пороге. Пробежала по коридору, распахнула дверь в бабушкину комнату. Там горел ночник — слабый, жёлтенький, в виде ангелочка, которого я подарила ей лет десять назад. Бабушка лежала на кровати, на боку, поджав руки под щеку, как всегда спала. Одежда аккуратно подвёрнута. На тумбочке — стакан с водой и упаковка её сердечных таблеток.

— Ба? — позвала я тихо. — Бабушка?

Тишина.

Я подошла ближе, дотронулась до её плеча. Оно было тёплым, но каким-то неправильно тёплым, как остывающая печка. Я потрясла её — сначала осторожно, потом сильнее.

— Ба! Ба, проснись!

Она не просыпалась. Лицо было спокойное, даже безмятежное, как тогда в поезде. Губы чуть приоткрыты, как будто она хотела что-то сказать, но передумала. Я схватила её за запястье, пытаюсь нащупать пульс — ничего. Прижалась ухом к груди — тишина. Только моё собственное сердце колотилось где-то в ушах, заглушая всё остальное.

— Нет, — прошептала я. — Нет, нет, нет...

Я не помню, как оказалась на полу. Ноги просто подкосились, и я сползла по краю кровати на холодный линолеум. Перед глазами всё плыло. Бабушка. Моя бабушка. Единственный человек, которому было на меня не плевать. Которая потратила последние деньги, чтобы спасти меня от несуществующего проклятия. Которая верила, что всё будет хорошо. И вот она лежит — и её больше нет.

Я не плакала. Слезы придут позже. Сейчас была только пустота — огромная, чёрная, засасывающая, как воронка.

В дверях комнаты появился он. Встал, прислонившись плечом к косяку, и смотрел на меня сверху вниз. Звезда Давида на его свитере тускло поблёскивала в свете ночника.

— Я же говорил, — произнёс он тихо. — Старец не помог. Ничего не изменилось. Смерть приходит ко всем, Анна. Даже к тем, кто верит. Даже к тем, кто молится. Это просто... биология. Кардиология. Естественный ход вещей.

Я подняла на него глаза. В горле стоял ком, но я заставила себя говорить.

— Ты... ты убил её?

Он покачал головой с лёгкой грустью.

— Я? Я лишь пью чай на твоей кухне. Её срок пришёл. Или ты думала, что поездка в скит даст вам вечную жизнь? Ты просила знака, просила помощи — тебе дали слова. Слова, Анна. Тёплые, красивые, утешительные. Но против законов мироздания они бессильны. Твоя бабушка была старой и больной. Она умерла. Это не магия, это жизнь.

Он оттолкнулся от косяка и сделал шаг ко мне. Потом ещё один. Опустился рядом на корточки и вдруг обнял меня. Его руки были ледяными — в прямом смысле. Как будто меня обхватили не живые конечности, а две замёрзшие ветки. Холод проникал сквозь пижаму, сквозь кожу, добираясь до самых костей. Я попыталась отстраниться, но он держал крепко, почти нежно.

— Тихе, тихе, — прошептал он мне в макушку. — Всё будет хорошо. Я понимаю, это больно. Терять близких всегда больно. Но помнишь? У тебя есть выход. Тот самый контракт. Подпишешь — и боль уйдёт. Я заберу её. Всю. Останется только лёгкость.

Его дыхание пахло мятой и чем-то ещё — холодным, как зимний ветер. Я чувствовала, как моё тело начинает неметь там, где он прикасался. Пальцы сводило, мысли путались. Где-то на краю сознания билась мысль: «Это неправда, это ловушка, старец предупреждал». Но другая, гораздо более громкая, кричала: «Бабушки больше нет, что тебе теперь терять? Подпиши. Пусть всё закончится».

Я зажмурилась. И вдруг перед глазами встало лицо бабушки — не мёртвое, а живое, каким я видела его в поезде. Она улыбалась и говорила: «Бог не выдаст». Она верила. До самого конца верила. И я не могла предать эту веру. Даже если Бога нет. Даже если старец ошибался. Я не могла.

Собрав остатки сил, я рванулась из ледяных объятий. Он не удерживал — разжал руки и отступил на шаг, с интересом наблюдая.

— Нет, — выдохнула я, поднимаясь на дрожащих ногах. — Нет. Убирайся.

— Анна...

— Убирайся! — мой голос сорвался на крик.

Я бросилась в коридор, на кухню. Где-то здесь, в ящике стола, лежал этот проклятый контракт. Я хранила его, сама не зная зачем — может, как напоминание, может, из страха. Теперь я точно знала, что с ним делать.

Я выдвинула ящик — там, под стопкой старых чеков и инструкцией от микроволновки, лежал сложенный лист плотной бумаги. Я схватила его, чувствуя, как знакомо покалывает пальцы от прикосновения к перламутровой поверхности. На кухне всё ещё горел свет, и я видела, как витиеватые буквы поблёскивают, будто живые.

Люцифер появился в дверях кухни. Он не пытался меня остановить — просто стоял, скрестив руки на груди, и смотрел с лёгким любопытством.

— Ты уверена? — спросил он. — Это твой последний шанс. Потом будет поздно.

— Проклятия нет, — сказала я, глядя ему прямо в глаза. — Ты сам — ложь. Всё, что ты говоришь — ложь. Бабушка умерла, потому что пришло её время. Это больно, это ужасно, но это жизнь. А ты пришёл, чтобы на этой боли сыграть. Чтобы я сломалась и подписала твою бумажку. Не выйдет.

Я включила воду в раковине — на всякий случай, чтобы не устроить пожар — и чиркнула зажигалкой, которую нашла в том же ящике. Маленький язычок пламени лизнул уголок контракта. Бумага занялась неохотно, будто сопротивляясь, но потом вспыхнула ярко, с лёгким треском. Я держала горящий лист над раковиной, чувствуя жар на лице, и смотрела, как корчатся и исчезают в огне витиеватые буквы. Запахло палёной бумагой и чем-то сладковатым, приторным, как духи Маши Кротовой в квартире Кирилла.

Через минуту всё было кончено. В раковине лежала горстка серого пепла, которую тут же смыла вода.

Я повернулась к нему. Он стоял на том же месте, но выражение его лица изменилось. Любопытство сменилось чем-то другим — не гневом, нет, скорее, лёгкой досадой, как у шахматиста, который проиграл партию, но знает, что впереди ещё много игр.

— Убирайся, — повторила я. — Я не верю тебе. Проклятия нет. И ты не получишь мою душу.

Он посмотрел на мокрый пепел в раковине, потом на меня. И вдруг усмехнулся — спокойно, почти дружелюбно. Сунул руку во внутренний карман свитера и достал оттуда точно такой же лист плотной бумаги. Развернул, показал мне — те же витиеватые буквы, та же перламутровая поверхность.

— Копий у меня много, — сказал он буднично. — Ты же не думала, что всё так просто? Это не фильм ужасов, Анна. Там зло уничтожают, сжигая артефакт. В жизни всё скучнее. Я просто делаю новый экземпляр, и всё.

Он аккуратно сложил лист и убрал обратно в карман.

— Но я не навязываюсь. Честное слово. Ты сама меня позовёшь. Когда придёт следующий чёрный день. А он придёт, Анна. Обязательно придёт. Потому что жизнь — это череда чёрных дней для таких, как ты. Ты потеряла бабушку сегодня. Завтра потеряешь что-то ещё. Послезавтра — ещё. И однажды ты поймёшь, что бороться больше нет сил. Вот тогда и поговорим.

Он полез в карман джинсов и достал оттуда визитку. Обычную, белую, с тиснением. Положил на кухонный стол, рядом с моей кружкой, из которой пил чай. На визитке не было ни имени, ни должности — только номер телефона. Простой, московский, с кодом 495.

— Не выбрасывай, — посоветовал он. — Пригодится.

И ушёл. Просто развернулся, прошёл по коридору, открыл входную дверь и вышел на лестничную клетку. Я слышала, как мягко щёлкнул замок — он притворил дверь за собой, даже не хлопнув.

Я осталась одна в тишине ночной квартиры. На кухне горел свет, в раковине ещё блестели капли воды, смывшие пепел. На столе стояла моя кружка с недопитым чаем — чужим чаем, к которому прикасались ледяные губы. Рядом лежала визитка с номером телефона.

И в соседней комнате — бабушка. Моя бабушка, которая больше никогда не проснётся.

Я опустилась на пол прямо там, на кухне, прижалась спиной к холодной батарее и обхватила колени руками. Сил не было ни плакать, ни кричать, ни звать на помощь. Только пустота внутри и странная, тихая ясность в голове.

Он сказал, что чёрный день придёт. Может быть. Скорее всего. Но сегодня я его не позвала. Сегодня я сожгла контракт. И пусть у него есть копии — я знаю теперь правду. Проклятия нет. Есть только жизнь — жестокая, несправедливая, но моя. И я буду жить её сама. Без сделок, без подписей, без ледяных объятий.

Я посмотрела на визитку. Потом перевела взгляд на икону, которую бабушка привезла из скита — маленькую, бумажную, с изображением Спаса. Бабушка повесила её над кухонным столом, сказав: «Пусть здесь будет, на видном месте».

Я встала. Взяла визитку, повертела в пальцах. И положила в ящик стола — туда, где раньше лежал контракт. Не выбросила. Честно — не выбросила. Потому что не была уверена, что никогда не позвоню. Но и не позвонила сейчас. А это уже что-то.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.